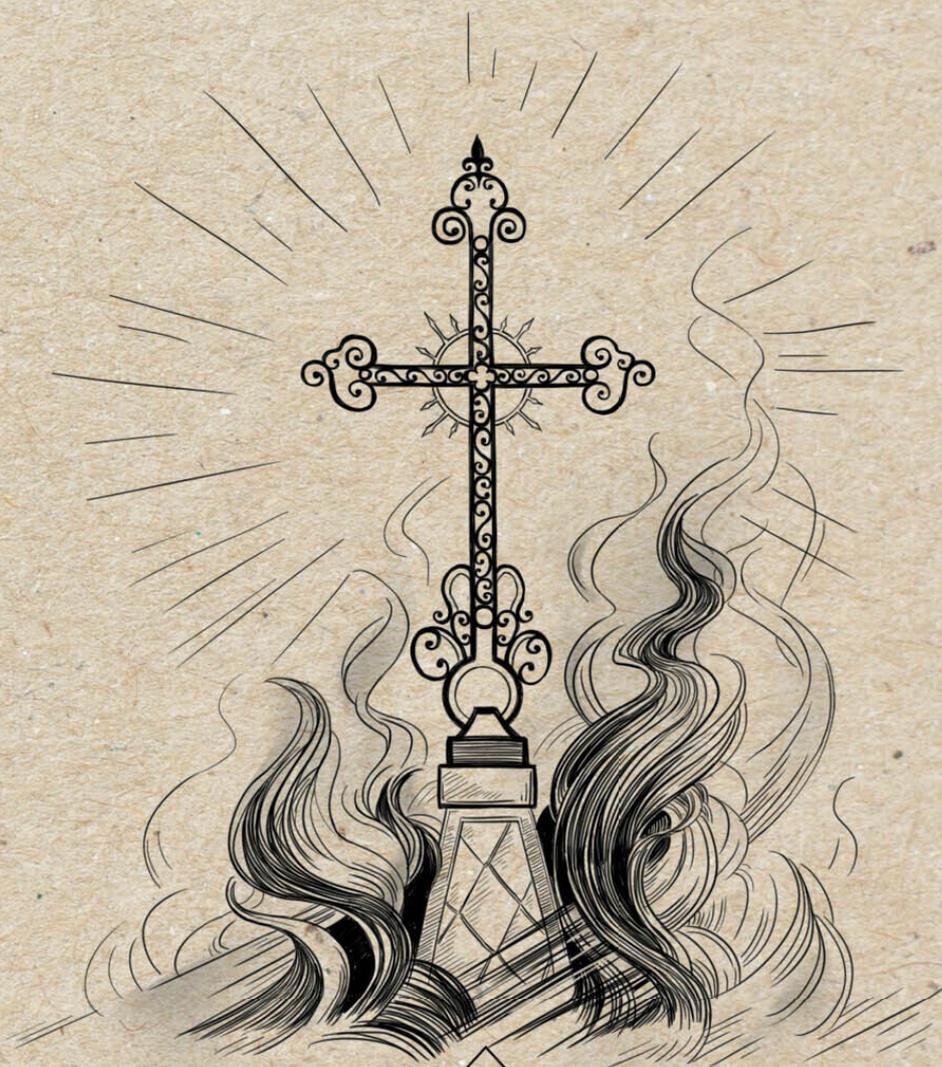


Librarium

ЖОРИС-КАРА ГЮИСМАНС

ТАМ, ВНИЗУ, ИЛИ БЕЗДНА



18+

РИПОЛ КЛАССИК

Librarium

Жорис-Карл Гюисманс
Там, внизу, или Бездна

«РИПОЛ Классик»

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)5-44

Гюисманс Ж.

Там, внизу, или Бездна / Ж. Гюисманс — «РИПОЛ Классик»,
— (Librarium)

ISBN 978-5-38-614538-5

«Католическая трилогия» Ж.-К. Гюисманса начинается с романа «Там, внизу, или Бездна» (1891). Главный герой, Дюрталь, наделенный характером самого Гюисманса, пишет роман о Жиле де Рэ — Синей Бороде, могучем воине Столетней войны и некроманте-мучителе детей. Дюрталь хочет лучше понять Жиле де Рэ, поэтому приобщается к черной мессе и исследованию современного сатанизма, предоставляя читателю целый курс демонологии. Этот тревожный роман — высшая точка декадентской эпохи.

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)5-44

ISBN 978-5-38-614538-5

© Гюисманс Ж.
© РИПОЛ Классик

Содержание

I	5
II	12
III	16
IV	24
V	31
VI	40
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Жорис-Карл Гюисманс

Там, внизу, или Бездна

I

– Ты так уверовал в эти мысли, мой друг, что ради истории Жилия де Рэ забросил супружеские измены, любовь, честолюбие – все эти излюбленные темы современного романа. – Помолчав, он прибавил: – Нелепо и несправедливо было бы упрекать натурализм за его язык черни, за словарь мусорных ям и больниц; во-первых, иногда этого требует содержание, затем не забудем, что разящая сила выражений или едких слов помогает созданию творений великих и могучих: доказательство этому – «L'Assomoir» Золя. Нет, вопрос в другом. Натурализм упрекаю я не за тяжелый цемент его грубого стиля, но за низменность мыслей. Я упрекаю его за то, что он ввел материализм в литературу, восславил искусство толпы!

Да, что ни говори, мой милый, но все же какое это примитивное учение, какая узкая система! Лишь откровения плоти, непонимание даже той истины, что искусство начинается там, где бессильны чувства! Ты пожимаешь плечами, но скажи мне – постиг ли твой натурализм хотя одну из тех грозных тайн, которые нас окружают? Ничуть. Когда речь идет об объяснении страстей, когда надо исследовать рану, залечить хотя бы самую малую царапину духа, он все сводит к животным стремлениям, к инстинктам. Похоть и безумие – таков единственный его ответ. Утопая в пустословии, он пытался постигнуть лишь телесность человека, в чувствах видел болезнь плоти, сделался как бы близоруким знахарем души!

Знаешь, Дюрталь, мало того, что он неискусен и туп, он еще и зловонен, когда, восхваляя современную жестокую жизнь, кичится новой американской моралью, воспекает грубую силу, прославляет денежный сундук. Отменно покорный, склонился он пред пошлыми вкусами толпы и пренебрег стилем, отверг всякую гордую мысль, всякий порыв души к возвышенному. Честное слово, он явил столь верное олицетворение мещанской мысли, что кажется мне рожденным Лизой, колбасницей «Брюха Парижа», сочетавшейся с Гомецем!

– Ты слишком увлекаешься, – ответил обиженно Дюрталь. Раскурив папиросу, он продолжал: – Я такой же противник натурализма, как и ты, но это еще не причина отрицать безусловные заслуги, оказанные натуралистами искусству. Разве не они в конце концов освободили нас от бесчеловечных идолов романтизма, не они разве устранили из литературы идеализм тупиц и худосочие изнуренных безбрачием старых дев!

В общем, они после Бальзака создали образы видимые и осязаемые, установили согласие между ними и средой, двинули начатое романтиками развитие языка, познали истинный смех, иногда владели даже даром слез и, наконец, не всегда вдохновлялись столь пламенно пошлостью, как ты говорил!

– Они любят свой век, и в этом их приговор!

– Ни Флобер, ни Гонкур не любили, черт возьми, своего века!

– Согласен, они художники истинные, мятежные, надменные. Я исключаю их. Я охотно допускаю даже, что Золя – великий пейзажист, удивительный знаток толпы и толмач народа. К тому же, благодарение Создателю, он не до конца следовал в своих романах теориям своих статей, в которых проповедует позитивизм в искусстве. Но у лучшего из его учеников, у Рони, единственного талантливого романиста, целиком усвоившего мысли учителя, они выродились в прилежно собранную выставку мнимой учености, в науку подмастерьев, изложенную пошлым школярским языком. Нет, бесспорно, вся натуралистическая школа, поскольку прозябает она еще до наших дней, отражает влечение времени воистину ужасного. Она привела нас к искусству такому пошлостью, столь пресмыкающемуся, что мне хочется назвать его тиной. Ты

сомневаешься? Перечитай их последние книги, что встретишь ты там? Смешные историйки, разную смесь, выхваченную из журналов, скучные сказки, червивые рассказы – и все это изложено стилем, напоминающим безвкусное, дешевое цветное стекло, и даже не осмыслено каким-либо пониманием души, жизни. Прочитывая их книги, я сейчас же забываю эти убогие описания, эту пошлую болтовню. У меня остается только удивление, что человек пишет триста, четыреста страниц, и ему совсем нечего открыть нам, нечего сказать!

– Послушай, де Герми, если тебе все равно, поговорим о другом. Мы никогда не пойдем друг друга в вопросе о натурализме, одно имя которого уже пугает тебя. Ну а что с твоей медициной Маттеи? В каком положении она? Помогают ли, по крайней мере страждущим, твои фиалы с электричеством, твои пилюли?

– Что же! Они все же целебнее средств официальной медицины, хотя, конечно, и они не обладают долгим, верным действием; не все ли равно в конце концов... Но мне пора уходить, мой милый, бьет десять часов, и твой привратник потушит газ на лестнице. Будь здоров! До скорого свидания!

Заперев дверь, Дюрталь подбросил коксу в камин и задумался.

Уже целые месяцы длилась в нем внутренняя борьба, и все сильнее волновал его спор с другом. Рушились теории, в неколебимости которых он был уверен.

Несмотря на всю ожесточенность мыслей де Герми, они смущали его. Конечно, натурализм, преподносимый в однообразных работах посредственностей, вращавшихся в неизменной обстановке гостиных, вел вернейшим путем к полному бесплодию, даже когда он был честным, проникательным. Лишенный этих качеств, он выявлялся в постыднейшем пустословии, в утомительнейших повторениях. Но вне натурализма Дюрталь не видел возможности романа и не хотел возврата к напыщенным бредням романтиков, к утомительным творениям Шербюлье и Фелье, к плаксивым рассказикам Терье и Занд.

Но что же тогда? И, поставленный в тупик, Дюрталь упорно преодолевал туманные учения, сомнительные послышки, замыслы труднообразимые, не укладывавшиеся в рамки рассудка. Он лишь смутно ощущал, что в нем происходит, не решался войти в лабиринт, страшась, что будет скитаться в нем, не обретет исхода.

Он говорил себе, что нужно сохранить документальную достоверность, точную отделку подробностей, меткий, нервный язык реализма. Но наряду с этим следует зачерпнуть влагу тайников души и не пытаться таинственно объяснить болезнью чувств. Пусть сам собою распадется роман на две части, но пусть будут они спаяны, или, вернее, как в жизни, слиты. Одна посвятит себя душе, другая телу. Пусть роман отдастся изучению их противодействия, борьбы, согласия. Надо выйти вслед за Золя на проложенную им широкую дорогу, и вместе с тем необходимо параллельно пройти душой высокий путь и, шествуя обоими путями, сближая их, создать одухотворенный натурализм, своеобразно горделивый, по-иному совершенный, могучий!

Задача, до сих пор никем не выполненная. Достоевский ближе других к этим замыслам. Но милосердный русский писатель воплощает скорее евангельский социализм, чем одухотворенный реализм! В современной Франции, утратившей веру в непогрешимость правдивого рассказа о человеческой натуре, господствуют сейчас два течения: либеральное и декадентское. Первое сближает натурализм с гостиными, лишает его всего смелого, всяких исканий нового языка. Декаденты более решительны: они отвергают телесность образов и, постигая якобы дух, в действительности утопают в каком-то непостижимом телеграфном шифре. На деле они под намеренным безумием своего стиля только скрывают безмерную скудость мысли. Что касается орлеанистов истины, то Дюрталь не мог без смеха вспомнить о болтливом, скучном хламе – порождении этих так называемых психологов. Никогда не погружались они в исследование неведомых долин души, не открыли ни малейшего забытого уголка страстей. В

сахарную водицу Фелье они подбрасывали крупинки Стендалевой соли, стряпали полусоленые-полусладкие лепешки – истинную литературу Виши.

Они решали вопросы философии, пересыпали свои романы школьными философскими сочинениями, точно простой намек Бальзака – хотя бы, например, слова старого Юло в «Кухне Бетти»: «Могу я взять малютку?» – не освещает несравненно глубже какого-либо малейшего движения души, чем все измышления школьного конкурса! Нет! Не от них ждать стремления ввысь, порыва к неземному. Дюрталь говорил себе, что истинный психолог века не Стендаль, ими превозносимый, но удивительный Элло, непостижимая неудача которого граничит с чудом!

И он пришел к убеждению, что де Герми прав. Да! Нет ничего ценного в современном хаосе литературы. Ничего, кроме жажды сверхчувственного! Но, не найдя исхода более возвышенного, она, спотыкаясь, устремлялась к спиритизму и оккультному.

В стремлении приобщиться во что бы то ни стало к начертанному идеалу мысль его понеслась окольными путями, остановилась перед другим искусством, перед живописью. Там обрел он идеал свой в целостно воплощенных творениях первых мастеров!

В Италии, в Германии, прежде всего во Фландрии, законченно воссоздали они бело-снежное покрывало святых душ. В правдивой красе, терпеливо сотворенные, в рамках жизни начертаны были образы покоряюще истинные и достоверные. Небесные радости, мучительные печали, мир духа, душевные бури исходили от образов этих, часто казавшихся обыденными, ликов иногда заурядных, но воссозданных могуче. Здесь как бы совершалось перевоплощение покорной, обузданной плоти, отторжение от чувств, устремление в бесконечную высь.

Дюрталь впервые познал откровения этого натурализма в прошлом году, тогда еще не столь сильно возмущенный бесстыдным зрелищем конца нашего века. Это было в Германии перед распятием Матеуса Грюнвальда.

Он задрожал в кресле и почти в муке закрыл глаза. Со странной отчетливостью предстала пред ним вызванная в этот миг памятью его картина. Внутренним стоном раздался в душе его сейчас тот вопль изумления, который испустил он, войдя в маленькую залу Кассельского музея. Как и тогда, встал перед ним Христос, терзаемый на кресте, к которому вместо перекладины прикреплен был плохо очищенный сук, подобно своду, выгнувшийся под тяжестью тела.

Казалось, что сук вот-вот выпрямится и милосердно отпустит от земного мира злодейств и преступлений измученное тело, снизу поддерживаемое огромными, вонзенными в ноги гвоздями.

Раскинутые, словно отторгнутые от плеч руки Христовы были до самого запястья скручены впившимися в мускулы ремнями. Хрустели перебитые ладони, напряженные пальцы разжались и как бы благословляли. Трепетали сосцы, омоченные потом. Глубокие борозды обозначились на стане между выступавшими ребрами. Потемнело и посинело усеянное красными пятнами вспухшее тело. Словно булавочные уколы пестрели вонзившиеся занозы отпавших от розог игл.

Появилась сукровица. Сочилась влажная рана бедра и, подобная выжатому спелому соку, заливала бедра кровь. Бледно-розовая, беловатая, водянистая, цвета светлого мозельвейна жидкость струилась по груди и стекала на живот, опоясанный куском полотна, образовавшим волнистые, закругленные складки. Смыкались чашечки судорожно сжатых колен, бессильно повисли скрученные ноги и ступни, одна поверх другой – растянутые, безмерно растерзанные, залитые кровью. Ужас вселяли обезображенные, истерзанные ноги. Вздуплась и распухла кожа под головкой гвоздя, и противоречили благословляющему движению кистей судорожно искривленные пальцы ног. В них чувствовалось как бы возмущение, посиневшими ногтями они почти вонзались в алую землю, подобную пурпуром подернутым равнинам Тюрингии. Огромная, с печатью смятения высилась над этим растерзанным телом голова. Изнуренная, повисла она, беспорядочно увенчанная терниями. Один глаз на лице приоткрылся, и в нем еще

трепетало выражение ужаса и муки, а искаженный лоб выделялся над изможденными щеками. Судорожно стонал весь искаженный облик, и лишь улыбался отверстый рот, сведенные челюсти которого застыли в жестоком содрогании.

Безмерны были мучения, и в бегство обратились веселившиеся палачи, уstraшенные агонией.

Ему чудился крест, накренившийся почти в уровень с землей, оттененный глубоким, таинственным фоном ночного неба и хранимый двумя стоявшими по сторонам спутниками. То были Пресвятая Дева и святой Иоанн. Голова Богородицы была укрыта капюшоном цвета бледно-розовой крови, волнами ниспадавшим на Ее одежду, цвета померкнувшей лазури, ложившуюся длинными складками. Суровая и бледная, неподвижно стояла, роняя слезы, Пречистая Дева и рыдала, судорожно сжав пальцы. Святой Иоанн обликом своим напоминал смуглого швабского селянина грубого вида – высокий ростом, с бородой в мелких завитках, он был облачен в широкополое, как бы из древесной коры скроенное одеяние алого цвета, поверх которого накинута была плащ цвета желтой замши, с видневшейся из-под откинутых рукавов подкладкой лихорадочно-зеленого цвета незрелых лимонов. Изнуренный слезами, но более выносливый, чем сокрушенная, изнемогшая, но все еще державшаяся на ногах Дева Мария, в бурном порыве сложил он руки и простерся к Телу, в созерцании устремив на Него пламенные, затуманенные глаза, задыхаясь и оглашая безмолвие криком, вырвавшимся из его сильной груди.

Ах! Какой далекой казалась эта обгаренная кровью и орошенная слезами Голгофа от той нежной Голгофы, которой со времен Ренессанса молится католическая церковь. Этот растерзанный Христос был не таким, каким почитают Его верующие уже четыреста лет, не Христом богатых, могучим красавцем, рыжеволосым юношей с расчесанной бородой, с чертами лица тонкими и изнеженными, то был Христос св. Иустина, св. Василия, св. Кирилла, Тертуллиана, Христос первых веков церкви, Христос горести народной, возложивший на себя бремя всех грехов мира и в унижении своем воплотившийся в формах наивысшего смирения.

То был Христос бедняков, Христос, общавшийся с несчастнейшими из тех, кого снизошел Он искупить, с обездоленными и нищими, со всеми, над бедностью или уродством которых издевается людская злоба. Христос, всегда доступный человеческому пониманию, Христос с телом слабым и бессильным, покинутый Отцом, который смягчился, лишь когда были исчерпаны все мыслимые муки. Христос, оставленный всеми, кроме Богородицы. К Ней, немощной и бессильной, воззвал Он криком дитяти и к окружавшим Его палачам.

В высшем унижении, несомненно, претерпел Он страсти до наивысшего предела человеческого терпения и, следуя неисповедимыми путями, допустил, чтобы с часа заушений и бичевания, поношений и ругательств, с часа всех этих злобно измышленных страданий, вплоть до ужаснейших мук бесконечной агонии, прервалась Его Божественность. Так лучше было ему мучиться, хрипеть, издыхать, как разбойнику, как собаке, – грязно, униженно, доходя в своем падении до крайних ступеней, до позора разложения, до последнего поругания – гниения.

Конечно, никогда не изображал в таком натурализме Божественное Тело художник, не опускал своей кисти в такую глубину терзания, в такую гущу кровавых пыток. Это было чрезмерным, было ужасным. Грюнвальд выказал себя беспощаднейшим реалистом. Но если всмотреться в распростертого Искупителя, в Божественное Тело, то впечатление менялось. Сияние исходило от этой истерзанной главы, неземное светилось в измученном теле, в лице, искаженном страданием. Действительно было Телом Господним это тело и без сияния лучей; в терновом венце, усеянном каплями алой крови, являл Иисус свое небесное сверхсущество между Приснодевой, сокрушенной, в отчаянии рыдавшей, и св. Иоанном, воспаленные глаза которого утратили уже способность источать слезы.

Преображенные чрезмерной необычностью их душ, расцветали их простые лики. Бедность, крестьянская простота забывались при созерцании картины, неизгладимым оставалось лишь впечатление сверхземных существ, стоявших возле Бога.

Грюнвальд сочетал в себе высшую меру реализма с беспощаднейшим идеализмом.

Никогда не восходил художник к такому пламенному проникновению, не переносился так вдохновенно с вершин духа к бесконечному своду Небес. Он воплотил в образе две крайности и из плоти, поправшей смерть, извлек изысканнейшие ароматы любви, горчайшую муку слез. Несравненное произведение искусства раскрывалось в этой картине – искусства сурового, призванного возвестить тягчайшую печаль тела и явить утонченнейший образ бесконечной скорби души.

Равного этому не существовало ни на одном художественном языке. В литературе к идеалу сверхъестественного реализма, к этой обнаженности и истине, приближались до известной степени некоторые страницы Анны Эммерих о Страстях. Может быть, также отдельные излияния Рюисброка, как бы лучась двойным пламенем – белым и черным, – напоминали в некоторых чертах своих божественное уничтожение Грюнвальда... Но нет, оно единственное: земное и одновременно неземное.

Но, значит, сказал себе, пробуждаясь от своих дум, Дюрталь, будучи последовательным, я должен прийти к католицизму Средних веков, к мистическому натурализму. Ах, нет. Но однако! И он мысленно остановился перед закоулком, входа в который избегал ранее, не чувствуя опоры веры в себе. Он, несомненно, не был одним из избранников Провидения, лишен был той необходимой воли, которая влечет людей к безудержному погружению в тьму непреложных догм. Иногда, случалось, чтением он укреплял в себе отвращение к окружающей жизни и тосковал по медлительным часам в недрах монастыря, по сонным молитвам, люющим в курениях ладана, рождающим туманную мысль, устремленную неведомо куда в пении псалмов. Но нужно иметь душу простую, очищенную от всякой скверны, чтобы отдаваться наслаждениям обители, душу обнаженную и непорочную; но его душа забрызгана была грязью, покрыта густым налетом нечистого тления. Он не скрывал от себя, что жажда веры, стремление покинуть суету века часто зарождались в нем на почве грубого своекорыстия. В нем говорили тогда утомление докучливыми мелочами обыденного, усталость души, перешедшей сорокалетний возраст, желание отдохнуть от пререканий с прачками и кухмистерами, от денежных счетов и платежей. Втайне он мечтал иногда спастись в монастыре, подобно тому, как девки поступают в притон, чтобы избавиться от опасностей облав, от забот о пропитании, жилище и белье.

Он остался холостяком, не имел состояния, уже слабо влекли его теперь наслаждения плоти, но бывали дни, когда он возмущался такой жизнью, созданною им самим. Уставая бороться со словами, он резко отбрасывал в такие часы в сторону перо и вперял взор в будущее, не видя в нем ничего, кроме огорчений и тревог. Искал тогда утешений и успокоения и приходил к выводу, что только религия владеет еще искусством проливать целительный бальзам на самые жгучие раны. Но в обмен за то требует такого забвения здравого смысла, такого умения ничему не удивляться, что, полный сомнений, он отступал. Но все же он непрестанно бродил вокруг нее, зная, к каким пышным осияниям способна она, хотя и не покоится на достоверных основах, что через нее лишь может достигнуть душа наиболее пламенных вершин, лишь с ней подняться и унести в безмерность восхищения, за пределы пространства миров, в выси самые неслыханные. Помимо того, она влекла Дюрталя своим восторженным, интимным искусством, богатством своих легенд, лучезарной простотой жития своих святых.

Он не верил, но допускал в то же время сверхъестественное, ибо как отвергать тайну даже в пределах земли, тайну, которая творится в нас, возле нас, на улице, повсюду. Слишком легко отрицать невидимое, сверхчеловеческое, объяснять случаем, который сам есть нечто непостижимое, непредвиденные события, несчастье, удачу? Разве не решалась часто челове-

ческая судьба какой-либо одной встречей? А любовь и влияния непонятные, но, однако, несомненные? И наконец самая потрясающая из всех загадок – деньги?

В сущности денег мы лицом к лицу встречаемся с первозданным законом, жестоким и органическим, предназначением и осуществляемым со дня сотворения мира.

Веления его цельны и всегда ясны. Деньги обладают силой самопритяжения, стремятся расти в одних руках, предпочтительно достаются злодеям и посредственностям. Но если неисповедимым исключением они попадут к богачу, душа которого не запятнана ни злодейством, ни гнусностью, то будут бесплодны и не способны претвориться в разумное благо и даже в руках человека милосердного не смогут достичь цели сколько-нибудь возвышенной. Они как бы мстят за свое ложное предназначение, добровольно цепенеют, когда ускользают от обладающих ими отъявленных плутов и отвратительнейших уродов. Еще загадочнее их действие, когда, заблудившись, они, в виде исключения, забредут в дом бедняка. Тогда они сейчас же развратят его, если он честен, превратят самого целомудренного человека в сластолюбца, одним взмахом подействуют на дух его и тело, вселят в своего владельца низменный эгоизм, бесчестную гордость, внушат ему желание расхотеть деньги на одного себя, самого униженного превратят в наглого холопа и самого бескорыстного человека – в скрягу. В один миг изменяют все привычки, опрокинут все идеи, создадут упорнейшие страсти.

Деньги – лучшая пища наших смертных грехов и как бы являются бдительным стражем их нерушимости. Если они не отвращают своего владельца от милостыни, и он как бы в забвении благодетельствует бедняку, то в бедняке они сейчас же пробудят ненависть за оказанное добро, скупость заместят неблагодарностью и восстановят тем самым равновесие, так что в совокупности не уменьшится число содеянных грехов. Но деньги становятся воистину чудовищными, когда, скрыв звонкий блеск своего названия, они как бы окутываются черным покровом, именуясь капиталом. Их действие не ограничивается тогда единичными наущениями, нашептываниями убийств и краж, но простирается на все человечество. Единым мановением капитал устанавливает монополии, воздвигает банки, захватывает жизненные припасы, располагает жизнью, может, если захочет, обречь на голодную смерть тысячи человеческих существ!

В это время капитал питается, жиреет, нежится в полном одиночестве в казнохранилище, а мир чтит его, коленопреклоненный изнывает перед ним в молениях, как перед Богом!

Одно из двух! Или деньги, эти неограниченные властители душ, – от дьявола, или они необъяснимы. А сколько других тайн, столь же непостижимых, сколько событий, которые повергают в трепет мыслящего человека!

Но раз вы блуждаете, размышляя Дюрталь, в неведомом, то почему не верить в Святую Троицу, почему отвергать Божественность Христа? Разве не вправе допустить вы credo св. Августина и повторить вслед за Тертуллианом, что если бы сверхъестественное было постижимо, то оно не было бы сверхъестественным, и что божественное по самой природе своей должно превышать человеческое понимание.

Ах! Все тщетно в конце концов. Проще всего над этим не задумываться. И он еще раз отступил, душа его не решилась сделать шаг в пустоту.

Как далеко забрел он, в сущности, от исходной своей точки, от натурализма, столь презираемого де Герми. Он мысленно поспешил возвратиться к Грюнвальду, в картинах которого усматривал лихорадочный первообраз искусства. Бесполезно заходить так далеко, спотыкаться за пределами потустороннего, погружаться в пламеннейший католицизм. Достаточно спиритуализма, чтобы постигнуть сверхнатурализм – единственную формулу, которая удовлетворяла его. Он встал, прошелся по своей комнате. Его развеселили рукописи, наваленные на столе, его заметки о маршале де Рэ, прозванном Синей Бородой.

Почти радостно почувствовал он вдруг, какое счастье сидеть вне времени в своем углу. Ах, что за блаженный сон – утонуть в прошлом, переживать далекое, не читать даже журна-

лов, не зная, существуют ли театры! Синяя Борода, подумал он, занимает меня больше, чем бакалейщик на углу, чем все марионетки современности, лучший символ которой – этот слуга из кофейной, насилующий ради обогащения в законном браке дочь своего хозяина – птичку, как он называет ее! Счастье в прошлом... и во сне, прибавил он, усмехаясь. Заметил, что его кошка – животное, прекрасно чувствующее время, – смотрит на него с тревогой, напоминая о взаимно установленных привычках, упрекая, что он не приготовил еще своего ложа.

Он поправил подушки, откинул одеяло, и кошка вспрыгнула на нижний край постели. Но, вскочив, не легла, а села, завернув на передние лапы хвост, и ждала, пока уляжется хозяин, чтобы тогда вытоптать себе на ночь удобную ямку.

II

Почти уже два года Дюрталь не бывал в обществе писателей. Книги, повествования журналов, воспоминания, записки всеми средствами старались изобразить этот мир обителью ума, воплощением духовной доблести. Если поверить им, то дух спаивался как бы искусственными кольцами и с наибольшей силой проявлялся в этих сочетаниях. Дюрталь плохо понимал, почему возникло такое извращение истины – он знал по опыту, что современные писатели распадаются на два разряда: первый слагается из корыстолюбивых мещан и из отвратительных уродов – второй.

Одних отметила толпа, они пошли по ложному пути, преуспели. Алчно домогаясь признания, они слепо подражали денежной знати, посещали торжественные обеды, давали у себя вечера, не говорили ни о чем другом, кроме авторских прав и изданий, развлекались театральными представлениями и позванивали монетой.

Другие стадом бродили в общественных низах. Это отбросы, которые можно видеть в кофейнях, завсегдатаи пивных. Все проклиная, вопили они о своих произведениях, кричали о своем гении, предавались изливаниям на бульварах и, упившись пивом, страдали от разлития желчи.

Другого общества не существовало. Так редко удавалось теперь найти интимный уголок, в котором бы могли непринужденно беседовать художники, не подражая ни гостиним, ни кабачкам, беседовать без затаенной мысли вероломства и коварства, не заботясь ни о чем ином, кроме искусства.

Ни намек на величие духа не было в литературном мире. Ни волнующих взглядов, ни быстрого и таинственного уклона мысли. Царили разговоры улицы Сентье или улицы Кюжа. По опыту зная, что никакая дружба немислима с животными, которые, насторожившись, всегда готовы растерзать добычу, он порвал все связи, не желая делаться ни простаком, ни хищником.

В сущности, не было больше ничего общего между ним и его товарищами. Раньше, когда он исповедовал ошибки натурализма, принимая его мертвящие новшества, его манеру писать романы без окон и дверей, он мог спорить с ними об эстетике.

Но теперь!

Де Герми как-то сказал: «Между тобой и реалистами всегда лежит такая глубокая пропасть мысли, что согласие ваше не может быть долгим и прочным. Ты проклинаешь современность, они боготворят ее. Этим сказано все. Неизбежно настанет день, когда ты покинешь американское направление искусства и устремись в дали, в области более возвышенные, менее плоские.

Во всех книгах твоих ты всегда нападал из всех сил на уродства нашего века; но, Бог мой, человеку надоест беспрестанно обрушиваться на пузырь, который опадает, чтобы сейчас же раздуться вновь! Тебе захочется передохнуть, сосредоточиться на другой эпохе, в надежде там отыскать достойный внимания предмет. Этим легко объясняются твое душевное угнетение за последние месяцы и то чувство довольства, которое вдруг опять охватило тебя, когда ты углубился в жизнеописание Жиля де Рэ».

Бесспорно, де Герми оказался прав. Дюрталь почувствовал себя возрожденным, погрузившись в мрачный и блаженный конец Средневековья, умиротворенный, проникся презрением к окружающему, создал себе бытие, далекое от литературной суевы, мысленно как бы уединился в замке Тиффож Синея Бороды и жил в совершенном согласии с ним, а порой почти даже увлекался этим чудовищем.

История заменила ему роман, который всегда оскорблял его выдуманностью фабулы, разделением на главы, рыночной удобочитаемостью, оскорблял искусственной условностью и пошлостью. Но он не верил в историю как в науку, и она казалась лишь наименьшим злом.

События, рассуждал он, дают человеку одаренному только канву для мыслей и стиля. В зависимости от потребности оправдания, от темперамента писателя, который обрабатывает их, они то сгущаются, то меркнут.

Еще хуже с документами, на которых покоятся события! Неопровержимых документов нет, они все требуют проверки. Если даже они подлинны, то за ними идут другие, противоречивые, но не менее достоверные, которые обесценят другие, извлеченные на свет архивными розысками.

Превращенная в спесивый ворох старых бумаг, современная история служит лишь утолению литературной жажды разных дворянчиков, изготавливающих книжечки, забрасываемые в дальний угол книжного шкафа, которым академия ретиво присуждает почетные медали и большие премии.

В истории Дюрталь видел самую торжественную ложь, самый ребяческий обман. По его мнению, древнюю Клио можно было изобразить с головой сфинкса, украшенной бакенбардами в виде плавников и увенчанную детским колпачком. Он вынес убеждение, что точность невозможна. Как разгадать события Средних веков, когда никто еще не смог объяснить более недавнее, например, недра Великой Революции или сваи Коммуны. Нет иного выхода, как сотворить образы в собственном воображении, мысленно приобщиться к существам того времени, воплотиться в них, переоблечься, если можно, в их ветхие одежды, искусно подобрав подробности, воссоздать обманные картины. В общем, именно так делал Мишле. И хотя этот расслабленный старец причудливо блуждал в своих сооружениях, останавливался перед ничтожным, нежно млея, вплетая анекдоты и объявляя их безмерно значительными, хотя обуревавшие его приливы чувствительности и припадки шовинизма опрокидывали достоверность его посылок, искажали здравомыслие его суждений, он являлся единственным писателем во Франции, который парил над вечностью и с высоты погружался в загадочную глубь древних сказаний.

Его история Франции, истеричная и болтливая, бесстыдная и интимная, была до известной степени овеяна духом широты. Образы его были исшедшими из склепов, в которые их погребла надгробная болтовня его собратьев. Неважно, что из историков Мишле являлся наименее достоверным, будучи художником более других, больше, чем другие, оставаясь самим собой. Что касается остальных историков, то они, как кроты, рылись в архивах, ограничивались усилиями откопать как можно больше разных сведений. Вслед за Тэном они мастерили примечания, подбирали одну ссылку за другой, но оставляли лишь такие, которые подкрепляли бредни их сказок. Люди эти возводили в правило полнейшую скудость воображения, совершенное отсутствие энтузиазма, хвалились, что ничего не вымышляют, – что, впрочем, правда, – но, расчетливо подбирая документы, подделывали историю не в меньшей степени. Какой простотой отличалась их система! Открыв, что такое-то, допустим, событие произошло в нескольких общинах Франции, они делали отсюда вывод, что в такой-то части, такого-то дня, такого-то года, именно так, а не иначе жила и мыслила вся страна.

Не менее чем Мишле, являлись они храбрыми поддельвателями, но не обладали ни даром его видений, ни его духовным подъемом. Мелкие коробейники истории, уличные торговцы, кропатели примечаний, они, не давая общей картины, описывали отдельные подробности, походя на современных художников, нагромождающих краски, или декадентов, изготавливающих стряпню из слов! Еще хуже обстоит дело с сочинителями жизнеописаний, думал Дюрталь. Они подлинные кликуши. Целые книги писались с целью доказать, что Теодора была целомудренной и ровно ничего не пил Жан Стэн. Другие ставили себе задачей обелить Виллона, доказывали, что на самом деле толстая Марго, героиня баллады, означала не женщину, но вывеску кабачка. Без долгих рассуждений биограф изображал поэта человеком простодушным, воздержанным, справедливым и честным. Сочиняя свои исследования, историки эти как бы боялись обесчестить себя прикосновением к писателям и художникам, жизнь которых изобродена была страстями. Они хотели, без сомнения, чтобы те были такими же мещанами, как

они сами, и все это сооружалось с помощью прославленных документов, которые вошло в обычай подчищать, искажать, переименовывать.

Дюрталь в отчаяние приводила эта могущественная теперь школа обеления. Он был убежден, что в своей книге о Жиле де Рэ он не впадет в безумие фанатиков благопристойности, яростно жаждущих мещанской честности. Со своим взглядом на историю он менее, чем кто-либо, мог рассчитывать, что даст верный образ Синей Бороды, но зато, по крайней мере, был уверен, что не подсластит его, не утопит в потоках словоблудия. Крыльями его вдохновения как бы служили копия записки, поданной королю наследниками Жилия де Рэ, выписки из Нантского уголовного процесса, о котором имеется в Париже несколько отчетов, выдержки из «Истории Карла VII», написанной Балле де Виривиллем, наконец заметка Армана Геро и жизнеописание аббата Боссара. Всего поименованного было довольно ему, чтобы воссоздать мрачный облик слуги сатаны, бывшего самым талантливым, самым замечательным, самым жестоким человеком XV века.

Одного только де Герми, с которым он виделся теперь почти каждодневно, посвятил он в замысел своей книги.

Познакомились они в одном из наиболее странных домов, у католического историка Шантелува, хвалившегося, что он принимает у себя весь мир. И действительно, причудливейшее общество собиралось раз в неделю в зимние сезоны в гостиной его на улице Банье: ризничие и поэты кабачков, журналисты и актрисы, сторонники Реставрации и поклонники оккультных наук.

В общем, дом этот стоял на границе клерикального мира, и духовенство его посещало, но как место не совсем приличное. Шантелув был человек радушный, покладистый, приветливо-обходительный. Обеды его отличались некоторой необычностью и утонченностью. Пытливый наблюдатель мог насторожить взгляд каторжника, который он иногда метал из-под дымчатых стекол очков, но его чисто церковное добродушие разгоняло все опасения. Жена его была некрасива, но загадочна, и ее охотно окружали гости. Она обычно молчала, пребывала безучастной к жарким речам гостей и располагала к себе подобно мужу. Бесстрастная, почти надменная, выслушивала она без всякого смущения самые страшные парадоксы и рассеянно улыбалась, устремив взор свой куда-то вдаль.

На одном из таких вечеров, когда Дюрталь курил, а новообращенная Руссэль, временами завывая, пела стансы ко Христу, его вдруг поразили лицо и вся осанка де Герми, резко выделявшиеся на пестром фоне расстриг и поэтов, собравшихся в гостиной и библиотеке Шантелува.

Среди угрюмых и лицемерных лиц он бросался в глаза своей исключительной изысканностью и вместе с тем видом, исполненным презрительного недоверия. Высокий, худой, очень бледный, он прищуривал близко посаженные над коротким вздернутым носом глаза с темно-синим отливом. Волосы его были белокуры, щеки выбриты, заостренная бородка была почти пробкового цвета. Он производил смешанное впечатление болезненного норвежца и жесткого англичанина. Одетый в ткани лондонского производства, он, как в доспехи, облачен был в клетчатый костюм темного цвета, узко срезанный в талии, очень глухой, почти закрывавший шею и галстук. Весьма занятый собой, он как-то особенно снял и свернул перчатки, чуть слышно ими похлопывая. Потом уселся, скрестив в виде тирса длинные ноги, и, наклонившись вправо, из левого кармана достал плоский, узорчатый японский кисет, в котором у него хранились папиросная бумага и табак.

С незнакомыми он держал себя замкнуто, вежливо, обдавая их ледяной холодностью. Его высокомерное и принужденное обращение согласовалось с его деланным, бесцветным смехом и отрывистой речью. С первого взгляда он возбуждал серьезное чувство неприязни, которое потом крепло от его высокомерных слов, презрительного молчания, надменных или лукавых улыбок. У Шантелува его уважали и главным образом боялись. Но, узнав ближе, можно

было убедиться, что под этим внешним покровом таилась неподдельная доброта, склонность к дружбе, малообщительной, но способной к известному героизму и, во всяком случае, надежной.

Как жил он? Был ли богат или только не нуждался? Никто этого не знал. А сам он, весьма сдержанный, ни с кем не говорил о своих делах. Он был доктором Парижского факультета – Дюрталь видел случайно его диплом, – но о медицине отзывался с безмерным презрением, обратился к гомеопатии из отвращения к пустоте общепризнанного врачевания, но скоро и ее бросил и перешел к болонской медицине, над которой тоже стал издеваться.

Дюрталь по временам не сомневался, что у де Герми есть литературные труды, так как судил он о литературе с уверенностью писателя, раскрывал смысл ее сооружений, разбирали самый безумный стиль с умением знатока, постигшего сложнейшие ухищрения этого искусства. Однажды, когда Дюрталь упрекнул со смехом, что тот скрывает свои литературные работы, он ответил грустно: душа моя пуста в такое время, как наше, время презренного инстинкта к плагиату. Я мог бы подражать Флоберу ничуть не хуже, если не лучше, чем все эти торгаши, которые превозносят его. Но к чему? Я предпочитаю испытывать редкие составы таинственных лекарств, быть может, это бесполезно, но зато менее пошло!

Особенно поражал он объемом своих познаний. Он расточительно делился ими, знал все, был знаком с самыми древними фолиантами, с обычаями старины, с новейшими открытиями. Он вращался в кругу самых необычных бродяг Парижа, изучая различные, часто между собой враждующие науки. Его, такого выдержанного и холодного, можно было встретить в обществе астрологов и каббалистов, демонографов и алхимиков, богословов и изобретателей.

Дюрталь, которому надоели дешевые излияния и лицемерное добродушие художников, был очарован этим замкнутым человеком с такими суровыми и жесткими манерами.

Он достаточно выстрадал от невоздержанных проявлений дружеской назойливости, и этим объяснялось его чувство. Менее понятно, что вопреки своему пристрастию к необычным знакомствам де Герми ощутил влечение к Дюрталю, человеку с печальной душой, сухому и не склонному к крайностям. Очевидно, он испытывал по временам потребность освежиться в атмосфере менее удушливой, менее нагретой. К тому же литературные беседы, которые он так любил, были немислимы с этими беспокойными людьми, полными неутомимых замыслов, поглощенными лишь своей гениальностью, не интересовавшимися ничем, кроме своих открытий, своих наук.

Де Герми, подобно Дюрталю, совершенно порвавший с братьями, ничего не мог ждать ни от врачей, которых презирал, ни от всех посещаемых им маньяков.

Встретились, одним словом, два существа, находившиеся в положении почти одинаковом. Но главным образом Дюрталь выгадал от этой близости, сначала сдержанной, недоверчивой и наконец окрепшей в тесноту, исполненную заботливости дружбу.

Семья его давно уже вымерла, друзья юности или поженились, или исчезли, и после своего разрыва с миром писателей он был обречен на совершенное одиночество. Де Герми оживил его жизнь, хиревшую в уединении без всякой поддержки извне. Он обновил приток его ощущений, облек новой дружбой и познакомил с одним из своих друзей, которого Дюрталь не мог не полюбить.

Де Герми, часто рассказывавший ему об этом друге, раз решительно сказал: однако надо тебя познакомить с ним. Он любит твои книги, которые я давал ему, и ждет тебя. Ты упрекал меня, что я охотно знаю лишь с шутами или людьми подозрительными. В лице Карэ ты встретишь редкостного человека: он разумный католик без ханжества, бедняк, чуждый зависти и злобы.

III

Дюрталь, подобно большинству холостяков, пользовался услугами привратника для нужд домашнего хозяйства. Лишь одни несчастливцы эти знают, сколько мерок масла поглощает слабая лампа, знают, как бледнеет и теряет крепость, не уменьшаясь, бутылка коньяку. Знают, как их скучно встречает гостеприимное ложе, у которого привратник пощадил все, даже малейшие складки. Из опыта познают они наконец, что не всегда можно рассчитывать утолить жажду из чистого стакана, растопить камин, чтобы согреться.

Привратник Дюрталя был усатый старик с горячим дыханием, пропитанным сильным запахом спирта. Человек ленивый и смиренный, он на требования Дюрталя, чтобы уборка всегда кончалась утром к назначенному часу, отвечал неистощимым упрямством лени.

Не помогали ни угрозы, ни отказ платить на чай, ни упреки, ни мольбы. Отец Рато приподнимал кепи, проводил рукой по волосам, растроганным голосом обещал исправиться и на другой день приходил еще позже.

– Что за животное! – прошептал Дюрталь, слыша, как в скважине повертывается ключ. Он взглянул на часы и убедился, что привратник является в четвертом часу.

Предстояло претерпеть обычную сумятицу, человек этот, сонный и мирный в своей каморке, становился грозным с метлой в руке. Воинственные хватки, кровожадные инстинкты вдруг просыпались в домоседе, привыкшем с самой зари дремать в тепловатом, пряном запахе жаркого. Он превращался в мятежника, берущего приступом кровать, накидывался на стулья, налегал на рамы, опрокидывал столы, расправлялся с тазом и кувшином, как побежденных за волосы влачил за шнурки ботинки Дюрталя, разносил жилище, точно баррикаду, и воздвигал вместо знамени в облаках пыли свою тряпку над мебелью, поверженной во прах.

Дюрталь спасался тогда в ту из комнат, которую привратник оставлял в покое. Сегодня ему пришлось покинуть кабинет, в котором воевал Рато, и спастись в спальне. Оттуда из-за откинутой занавеси он созерцал спину врага, который с метлой над головой, как бы увенчанный короной могиканина, начал вокруг одного из столов свою пляску скальпа.

Знай я по крайней мере час, когда вторгнется этот сыч, я приготовился бы заранее к уходу, со скрежетом зубным думал он, наблюдая, как, схватив свои полотерные орудия, Рато скреб паркет, подпрыгивал на одной ноге и размахивал с рычанием щеткой.

Победоносный, вспотевший, показался он в дверях, направляясь убирать комнату, в которой укрылся Дюрталь. Вместе с кошкой пришлось теперь вернуться Дюрталю в усмиренный кабинет. Встревоженное суетой животное ни на шаг не отставало от хозяина, терлось около его ног и последовало за ним в освободившуюся комнату.

Тем временем позвонил де Герми.

– Я надену башмаки и мы уйдем, – воскликнул Дюрталь. – Постой, – и, проведя рукой по столу, он как бы облек ее в перчатку серой пыли, – взгляни, эта скотина переворачивает все вверх дном, сражается сам не знаю с чем и в конце концов после его ухода пыли еще больше!

– Почему возмущает тебя так пыль, – ответил де Герми. – Помимо того, что у нее вкус застарелого бисквита и блеклый запах древней книги, она как бы набрасывает на вещи воздушно-бархатный покров, осыпает их мельчайшим сухим дождем, смягчает чрезмерные краски, грубые тона. Она – одеяние запустения, пелена забвения. Думал ты над горестной судьбой людей, которые действительно вправе проклинать ее?

Представь себе существование человека, обитающего в одном из парижских пассажей. Вообрази кашляющего кровью и задыхающегося чахоточного где-нибудь в комнате второго этажа под двускатной крышей пассажа, ну хотя бы пассажа Панорамы. Окно открыто, поднимается пыль, насыщенная табачными осадками и пряным потом. Несчастный задыхается, умо-

ляет дать ему воздуха. Бросаются к окну, но... преградить доступ пыли, облегчить ему дыхание можно, лишь закрыв окно и уединив больного... и окно закрывают.

Менее благословенна, черт возьми, пыль, вызывающая кровавый кашель, чем та, на которую ты жалуешься.

Но готов ты, идем?

– По какой улице пойдём мы? – спросил Дюрталь.

Де Герми не отвечал. Пройдя улицу Регар, на которой жил Дюрталь, они спустились до Круа Руж по улице Шерш-Миди.

– Дойдем до площади св. Сюльпиция, – сказал де Герми и, помолчав, прибавил: – Если взглянуть на пыль как на прообраз начала и напоминание о конце, то тебе будет, вероятно, ново узнать, что после смерти трупы наши поедаются разными червями, смотря по тому, жирны мы или худы. В трупах людей толстых находят червей, называемых ризофагами. В трупах людей худых наблюдается исключительно другой вид – форосы. Последние, очевидно, наивысшая порода червивого царства, аскетические черви, презирующие изобильную трапезу, пренебрегающие лакомиться жирными грудями, поедают отменные тучные животы. И подумать только, что совершенного равенства нет даже в том, как превратится каждый из нас в смертный прах! Кстати, мы не пойдём дальше, друг мой.

Они вышли на площадь и остановились на углу улицы Феру. Дюрталь поднял голову и прочел надпись над открытыми воротами придела церкви св. Сюльпиция: «Можно осматривать башни».

– Войдем! – пригласил де Герми.

– К чему? В такую погоду!

И Дюрталь показал пальцем на сумрачное небо, по которому, точно дым фабрик, плыли черные облака. Они стлались так низко, что в гущу их, казалось, врезались белые железные печные трубы и, выделяясь над крышами, как бы пробивали в них бойницы.

– Меня не прельщает подъем по лестнице из неровных ступеней, и потом, чего надо тебе там, наверху, – моросит, ночь опускается... Нет, уволь!

– Разве тебе не все равно, где гулять? Пойдем, и, уверяю тебя, ты увидишь там нечто неожиданное.

– У тебя что-то на уме?

– Да.

– Почему же ты молчишь! – И вслед за де Герми он скрылся под воротами.

Маленькая лампада, висевшая на гвозде, освещала дверь в глубине свода. Дверь вела на башню.

Долго карабкались они в сумерках по винтовой лестнице, и Дюрталь начал уже думать, что сторож куда-нибудь ушел, как вдруг свет замерцал из-за поворота, и, круто завернув, они остановились у двери, освещенной висевшей перед нею лампадой.

Де Герми дернул шнурок звонка. Дверь открылась. Они увидели над собою на ступеньках ровень со своими лицами освещенные ноги человека, тело которого окутывал мрак.

– Ах, это вы, господин де Герми, – и, дугообразно согнувшись, на свет выставилась женщина средних лет. – Как хорошо! Луи будет рад видеть вас.

– Где он? – спросил де Герми, пожимая руку женщины.

– На башне. Но вы пока отдохнете?

– Теперь нет. Если хотите, на обратном пути.

– Идите в таком случае наверх до решетчатой двери... Впрочем, какая я глупая, вы знаете все не хуже моего.

– Конечно... Сейчас же! Позвольте, кстати, представить друга моего Дюрталя.

Дюрталь во мраке поклонился изумленный.

– Ах, как я рада, сударь! Луи так желал с вами познакомиться!

«Куда ведет он меня?» – думал Дюрталь, снова карабкаясь во тьме вслед за своим другом по лестнице, освещенной лишь мимолетными отсветами, падавшими из бойниц. Теряясь во мраке, цеплялись они за мелькавшие нити дня. Восхождение казалось бесконечным. Наконец остановились перед решетчатой дверью и, толкнув ее от себя, ступили на деревянный помост, висевший над бездной, на дощатую кровлю двойного колодца, как бы вырытого под их ногами вглубь и одновременно уходившего над ними в высоту.

Де Герми, бывший, по-видимому, здесь как дома, жестом указал на обе пропасти.

Дюрталь осмотрелся.

Он стоял внутри башни, которую пересекали сверху донизу огромные, толстые доски, положенные в виде римской цифры X, балки, связанные брусьями, перехваченные болтами, скованные винтами величиной с кулак. Дюрталь не видел никого. Повернувшись на помосте, он пошел вдоль стены по направлению к свету, падавшему из-под сводчатых навесов над бойницами.

Свесившись над пропастью, он разглядел теперь у себя под ногами огромные колокола, подвешенные к дубовым брусьям, окованным железом. Колокола, подобные вазам из темного металла, колокола из тяжелой, точно маслом умасненной меди, в которой, не отражаясь, тонули лучи дня.

Новые ряды колоколов увидел он, отойдя назад, над головой, в пропасти, уходившей ввысь. На их стенках выступал литой выпуклый лик епископа. Золотистым отблеском мерцали внутри чаш отдельные полосы, образовавшиеся от долголетнего биения языком.

Царило безмолвие; лишь ветер шелестел в покатых навесах бойниц, крутился вокруг балок, громко бурлил на вьющейся лестнице, завывал, сдавливаемый чашами колоколов. Вдруг щеки Дюрталя овеяло трепетание воздуха, безмолвное дуновение кроткой воздушной струи. Он поднял глаза и увидел, что один из колоколов заколыхался, заволновал воздух, потом вдруг зазвонил, как бы вдохновившись, и его, подобный огромному песту, язык стал извлекать из бронзы грозные звуки. Башня сотрясалась, помост, на котором он стоял, дрожал, точно площадка железнодорожного вагона. Непрерывный величественный рокот разносился, отражая дробный гром ударов.

Старательно рассматривая потолок башни, он не заметил никого. Затем ему удалось увидеть ногу, висевшую в пустоте и раскачивавшую одну из двух деревянных педалей, прикрепленных к языку каждого колокола, и наконец, когда он почти лег на доски, он увидел звонаря, который, держась руками за две железные скобы и устремив к небу глаза, сохранял равновесие над пропастью.

Дюрталь, не видевший никогда такой бледности, такого странного лица, поразился. Бледность этого человека не походила ни на восковой цвет выздоравливающих, ни на матовый оттенок кожи продавщиц духов, обесцвеченной ароматами. Его кожа не была серо-пепельной кожей растиральщиков нюхательного табака. Цветом своего лица, синеватым, бескровным, он напоминал средневековых узников, на целую жизнь замурованных в душном мраке сырых темниц.

Голубые, круглые, выпуклые глаза были подернуты мистической влажностью, но им странным образом противоречили жесткие, колючие усы. Человек этот казался одновременно и кротким, и воинственным, почти неизъяснимым.

В последний раз нажав педаль колокола, он откинулся назад и твердо встал на ноги. Утерев потный лоб, улыбнулся, увидев де Герми:

– А, это вы, отлично!

Лицо его просияло, когда, сойдя, он услышал имя Дюрталя.

Пожимая ему руку, он сказал:

– Верьте, что вы желанный гость. Друг ваш, который беспрестанно говорит о вас, слишком долго скрывал вас.

– Пойдемте, – продолжал он радостно, – я покажу вам свое маленькое царство. Я читал ваши книги, уверен, что, как и мы, вы полюбите колокола. Но их надо рассматривать, поднявшись выше.

И он устремился на лестницу. Де Герми, пропустив Дюрталь вперед, замыкал шествие. Снова началось восхождение в извивающейся полутьме.

– Это, конечно, друг твой Карэ? Почему не сказал ты мне, что он звонарь? – спросил Дюрталь.

Но в это мгновение они подходили к каменному своду на самой вершине колокольни. Карэ пропустил их вперед, и де Герми не успел ответить. Они вошли в круглый покой, посредине которого у ног их зияла большая скважина, обнесенная железным перилами, изъеденными оранжевой ржавчиной.

Глаз тонул в бездонной пропасти, если всмотреться, приблизившись. Казалось, что на самом деле смотришь в отверстие камня над колодецем, и что колодец этот чинится. Казалось, что скелет перекрестных брусьев, на которых висели колокола, опущен в глубину сруба, чтобы подпереть стены.

– Подойдите, сударь, не бойтесь, – пригласил Карэ, – взгляните, что за очаровательные создания!

Но Дюрталь плохо слушал его. Его угнетала бездна, эта зияющая дыра, из которой несся далекий рокот, умирающий гул колокола, очевидно, все еще дрожавшего, прежде чем погрузиться в полную тишину, застыть в совершенном покое.

Он отступил.

– Хотите подняться на самый верх башни? – спросил Карэ, указывая на железную лестницу, вделанную в стену.

– Нет, в другой раз.

Они начали спускаться, и сделавшийся молчаливым Карэ открыл новую дверь. Они вошли в обширную кладовую, в которой стояли исполинские статуи святых и апостолов, побитые, запущенные, обезображенные. Они увидели св. Матфея с отрубленной ногой и перешибленной рукой, св. Луку с половиной быка, св. Марка с искривленными ногами и с отбитым клоком бороды, св. Петра с ключами на поясе, воздевавшего обрубки.

– Раньше здесь стояла качель, – сказал Карэ, – отбою не было от шалунов. Совершались, конечно, бесчинства... За несколько су здесь в сумерках допускались такие вещи! Настоятель приказал наконец убрать качель и запереть покой.

– А это? – спросил Дюрталь, заметив в углу огромный круглый осколок металла, нечто вроде исполинской полускуфьи, подернутой пылью и окутанной пеленой тонкой паутины, которая, точно невод свинцовыми шариками, усеяна была искривленными тельцами мертвых пауков.

– Это! Ах, сударь! – И тусклый взгляд Карэ оживился, засверкал. – Это мозг древнего колокола, издававшего несравненные звуки! Звон его подобен был небесному благовесту!

Вдруг он сделался угрюмым.

– Наверное, говорил вам де Герми, что песня колоколов спета или, вернее, нет больше звонарей. Теперь нанимают угольщиков, кровельщиков, каменщиков, бывших пожарных, платят им франк, и они звонят! Ах! Если б вы видели их! Но бывает и хуже. Вы не поверите, но есть настоятели, которые не постесняются сказать вам: наберите за десять су на улице солдат и пригласите их звонить. Дошло до того, что недавно в Соборе Богоматери был звонарь, который не умел отставить ноги. Колокол трезвонил пронзительно, резко, отрывисто, звенел, как бритва.

И эти господа способны истратить тридцать тысяч франков на балдахин. Они разоряются на музыку, хотят завести в церквах газ, устраивают какую-то потеху тру-ла-ла! А если заговорить с ними о колоколах, они пожимают плечами. Знаете вы, господин Дюрталь, что во

всем Париже только два ученых звонаря: я и еще отец Мишель, человек холостой, разгульный, который не годится для постоянной должности при церкви. Как звонарь он не имеет себе равных, но даже он охладевает к делу, напивается, работает пьяный или полупьяный; отработав, пьет снова, пока не заснет.

Ах! Конечно! Колокольный звон умер! Представьте, сегодня утром его преосвященство удостоил церковь своим пастырским посещением. В восемь часов надо было звонить в честь его прибытия. Шесть колоколов, которые вы видели, зазвонили сначала. Шестнадцать верхних подзванивали. Что за позор! Звонари трезвонили, как истые бездельники; сбивались с такта, путались, звонили точно на смех!

Они начали спускаться. Карэ замолчал.

Потом обернулся и, пристально посмотрев на Дюрталь своими голубыми, влажными, вдруг вспыхнувшими глазами, заметил:

– Колокола – это единственная истинная музыка церкви!

Они дошли до обширной, расположенной над самой папертью, крытой галереи, на которой покоились башни. Карэ улыбнулся и показал набор крохотных колокольчиков, подвешенных на доске промеж двух колонн. Он потянул за нити, раздался нежный звук меди, и, очарованный, закатив глаза, прикусив усы, слушал он прозрачные созвучия, таявшие в тумане. Вдруг он выпустил нити.

– Я всегда мечтал, – начал он, – что здесь буду обучать и готовить своих учеников. Но никто не хочет учиться теперь ремеслу, которое дает все меньше дохода, свадебный звон вывелся, и мало кто осматривает башни! В сущности, я не могу, – продолжал он, пока они спускались, – жаловаться на свою судьбу. Я не выношу улиц, и мне тяжело бывать там, внизу. С колокольной я расстаюсь лишь по утрам, когда выхожу на площадь заpastись ведрами воды. Но жену утомляет жить так высоко, а по временам здесь творится что-то ужасное, когда нанесет снегу во все бойницы, и мы сидим точно осажденные, а ветер ревет и воет!

Они добрались до жилища Карэ.

Жена его ожидала на пороге и пригласила их войти.

– Зайдите, господа, вам следует передохнуть. – И указала на стаканы, которые она приготовила на столе.

Звонарь закурил маленькую трубку. Де Герми и Дюрталь свернули папиросы.

– Вы недурно устроились, – заметил Дюрталь, чтобы что-нибудь сказать.

Он осматривался в обширном сводчатом покое из тесаного камня, освещенном полукруглым окном под потолком. Пол, вымощенный плитами, был почти весь закрыт старым ковром, меблировка покоя отличалась крайней простотой: круглый обеденный стол, старые кресла, обитые утрехтским бархатом грифельно-голубого цвета, маленький буфет лакированного ореха, заставленный бретонским фаянсом, блюдами и судками. Против буфета – небольшой библиотечный шкаф черного дерева, в котором было, наверное, около пяти десятков книг.

– Вы смотрите на книги, – сказал Карэ, не спускавший глаз с Дюрталя. – О! Не судите строго. Там ничего, кроме орудий моего ремесла!

Дюрталь подошел. По-видимому, библиотека главным образом состояла из произведений о колоколах. Он прочел заглавия.

На древнем тоненьком томике в пергаменте он разобрал рукописную надпись цвета ржавчины: «De Tintinnabul's» Джерома Магиуса (1664), затем наткнулся на «Занимательное и поучительное повествование о церковных колоколах» доминиканца Реми Каррэ. Нашел еще одно «Почительное повествование» – анонимное. Увидел «Рассуждение о колоколах» Жана Баптиста Тьера, настоятеля в Шампроне и Вибрэ, тяжелый том, сочиненный неким архитектором по имени де Блавиныйяк, другой поменьше, озаглавленный: «Опыт о символике колоколов», сочинение одного из приходских священников в Пуатье, «Заметку» аббата Барро. Наконец несколько тонких книжек без переплетов и заглавия в обложках серой бумаги.

– Все это – пустяки, – заметил со вздохом Карэ. – Лучших у меня нет – нет «De campanis Commentarius» Анджело Рокки и «De Tintinnabulo» Персичеллиуса. Они редки и потом так дороги!

Дюрталь бегло осмотрел остальные книги, преимущественно благочестивые творения. Там были Библии, латинская и французская, «Подражание Иисусу Христу» мистика Гёрреса в пяти томах, «История и теория религиозного символизма», сочиненная аббатом Обером, «Описание ересей» Плюке и наконец, «Жития святых».

– Как видите, здесь нет светской литературы, сударь, но книгами, которые мне интересны, меня снабжает де Герми.

– Болтун, дай сперва нашему гостю сесть, – вставила жена, протягивая Дюрталю налитый стакан, и Дюрталь отведал искрометного, ароматного, подлинного сидра.

Когда он начал хвалить отменный вкус напитка, она рассказала ему, что они получают сидр из Бретани и что родные ее изготавливают его в Ландевенек, откуда она родом.

Услышав от Дюрталя, что он провел один день в этой деревушке, она пришла в восторг. «Мы с вами близкие знакомые», – объявила она, пожимая ему руку.

Дюрталя убаювало тепло железной печки, труба которой протянулась зигзагами и выходила в окно, примыкая к железному листу, вставленному вместо стекла; его разнежило умиротворяющее настроение, которое исходило от Карэ и его славной жены, женщины с лицом бледным, но бодрым, со взором смиренным, но открытым, и он отдался своим думам, мысленно унеся далеко от города. Созерцая приветливое жилище этих честных людей, он думал, что хорошо было бы стать хозяином этой комнаты и соорудить себе здесь над Парижем мирное убежище, благовонный, сладостный покой. Жить здесь, витая в облаках, живительной жизнью отшельничества и годами совершенствовать свою книгу. А потом, разве не сказочное счастье как бы вознестись над временем и в то время, как торжище людского безумия будет разбиваться о подножие башен, перелистывать древние книги при слабом свете зажженной лампы!

Он улыбнулся наивности своих мечтаний.

– Все равно, но у вас здесь хорошо, – сказал он, как бы подводя итог своим думам.

– О, не так-то хорошо! – начала жена. – Правда, жилище обширно, у нас две просторные спальни не меньше этой комнаты и еще антресоли, но все так неудобно, и потом здесь, знаете, такой холод! И нет кухни! – продолжала она, показывая на очаг, не уместившийся на узкой площадке и занимавший часть лестницы. – Но, помимо всего, я старею, мне уже не по силам подниматься на столько ступеней, когда я возвращаюсь домой с провизией.

– Представьте себе, в этом погребе нельзя даже вбить гвоздь в стену, – добавил муж. – Гвозди гнутся и ломаются о каменные, тесаные стены. Я, впрочем, прямо рожден для нашего жилища, ну а она – она мечтает уехать на склоне дней своих в Ландевенек!

Де Герми поднялся. Они пожали друг другу руки, и чета Карэ взяла с Дюрталя слово, что он придет опять.

– Что за славные люди! – воскликнул он, выйдя на площадь.

– Не забудь при этом, что Карэ ценный советник и сведущ во многом.

– Но объясни мне, черт возьми, почему он, человек образованный, не первый встречный, посвятил себя ремесленному труду... Трудю простого рабочего?

– Если б он слышал тебя! Звонари Средневековья не были, друг мой, презренными нищими, но бесспорно, что современные звонари пали очень низко. Я не доискивался, почему Карэ посвятил себя колоколам. О нем я знаю лишь, что учился он в Бретани в семинарии и, проверив свою совесть, не сочтя себя достойным священнического сана, приехал в Париж и поступил учеником к звонарю отцу Жильберу, человеку весьма одаренному и ученому, который хранил в своей келье при Соборе Парижской Богородицы редчайшие древние планы Парижа. Это был не столько ремесленник, сколько страстный собиратель документов, отно-

сившихся к парижской старине. Из Собора Богоматери Карэ перешел в церковь св. Сюльписия и служит при ней уже более пятнадцати лет!

– Как ты познакомился с ним?

– Сначала как врач. Потом мы сошлись ближе и подружились еще десять лет назад.

– Странно, что в нем нет следов угрюмости, которой веет отбивших семинаристов.

– Карэ проживет еще несколько лет, – продолжал де Герми, как бы размышляя, – а потом настанет его смертный час. Церковь, которая уже ввела газ в храм, кончит тем, что заменит колокольный звон громкими, однозвучными ударами. Это будет очаровательно: приборы, приводимые в действие электричеством. Они будут разносить истый протестантский благовест, краткие призывы, суровые веления.

– Жена Карэ вернется на родину.

– Для этого они слишком бедны. И притом Карэ погибнет, утратив свои колокола. Разве не любопытна эта привязанность человека к предмету, который он одухотворяет? Вспомни любовь механика к своему прибору. Люди способны полюбить как живое существо вещь, которая повинуется им, за которой они ухаживают. Конечно, колокол – орудие необычное. Его крестят как человека и освящают, умащая благодатной миррой. По правилам архиерейского требника, епископ святит колокол, семикратно помазуя его крестообразно внутри чаши елеем соборования. Так установлено, чтобы колокол нес умирающим утешительный голос подкрепления в часы предсмертных содроганий.

Колокол предназначен затем быть герольдом церкви – ее наружным голосом, подобно тому, как священник есть ее голос внутренний. Это не простой кусок бронзы, не опрокинутая ступка, в которую ударяют. Не забудь наконец, что, подобно старым винам, колокола с годами утончаются. Песнь их становится гибче, прозрачнее. Они утрачивают резкость, незрелость звука. Это объясняет отчасти, почему колокола можно полюбить!

– Однако ты хорошо изучил, черт возьми, вопрос о колоколах!

– Я, – смеясь, ответил де Герми, – сам я ничего не знаю... Я повторяю лишь, что слышал от Карэ. Спроси у него разъяснений, если это тебя занимает. Он преподаст тебе символизм колоколов. Он глубокий, несравненный знаток в этой области.

Дюрталь начал мечтательно:

– Я живу в квартале монастырей, на улице, воздух которой с самой зари насыщен волнами колокольного звона, и отлично помню, как, больной, я по ночам ждал как освобождения утреннего благовеста. На рассвете под звон колоколов чувствовал себя как бы убаюканным нежнейшей грезой, овеванной далекой, таинственной лаской. Точно живительный бальзам, изливался на мою скорбь! Во мне появлялась уверенность, что есть люди, которые стоят теперь и молятся за других, а следовательно, и за меня. Я не чувствовал себя больше одиноким. Бесспорно, что прежде всего звуки эти созданы для больных, одержимых бессонницей.

– Не только для больных. Колокола несут также умиротворение душам воинственным. Надпись «расо cruentes» – «смирно злобствующих», которая была начертана на одном из них, удивительно в сущности верна!

Настроенный этой беседой, Дюрталь вечером, один лежа у себя дома в постели, отдался своим мечтам. Точно откровение овладели им слова звонаря, что колокола есть истинная музыка церкви. Его мечтания погрузились вдруг в глубь веков, пред ним предстали образы Средневековья. Он видел медленно шествующих монахов и между ними коленопреклоненную паству мирян, благоговейно, как утеху освященного вина, впивающую чистые капли прозрачных звуков.

В памяти его воскресли все известные ему частности древнего богослужебного чина: благовест к утрени, благозвучные звоны, разносившиеся над тесными, извилистыми улицами, над стрельчатыми башенками, узкими высокими домами, зубчатыми стенами с вырезанными в них бойницами. Он вспомнил звоны, возвещавшие часы: час первый и третий, сексты и ноны,

вечерни и повечерия, вспомнил ясный смех маленьких колоколов, славивший городские радости, и крупные слезы горестных басов, возвещавших городскую скорбь.

Искусные звонари, истые знатоки созвучий, отражали в те времена душу города в своих воздушных ликованиях и печалях! Как покорные сыны и преданные дьяконы служили они колоколам, которые по образу самой церкви предназначены были смиреннейше народу. Как священник слагает с себя ризу, так и колокол по временам извлекал из себя свои благочестивые звоны. В дни торга и ярмарок он держал речь к малым сим, в дождь приглашал их обсуждать свои нужды в преддверии храма. И святостью места сообщал неизбежным спорам и жестким сделкам ту честность, которая теперь утрачена навек!

Теперь язык колоколов мертв, их звоны пусты и бессмысленны. Карэ прав. Человек этот, живший вне человечества, в воздушной могиле, верил в свое искусство и потому влачил беспечную жизнь. Излишний, ненужный, прозябал он в обществе, которое тешится песнями концертов. Он казался увядшим, чуждым современности созданием, обломком, выброшенным из глубины веков, обломком, безразличным для жалких рясоносцев конца этого века, не убоявшихся ради привлечения в гостиные своих церквей нарядной толпы оглашать церкви вальсами и каватинами, разыгрываемыми на больших органах, которыми управляют – о верх святотатства! – ростовщики музыки, торговцы балетов, производители опер-буф!

Бедный Карэ, подумал он, задувая свечу. Вот еще один, который любит современность не более, чем я или де Герми. Но он печется о своих колоколах, и среди питомцев у него есть, наверное, один излюбленный. Но, в общем, он не так уж несчастен. Подобно нам создал он себе любимую утеху, создал нечто такое, что дает ему возможность жить!

IV

– Как у тебя подвигается, Дюрталь?

– Я кончил первую часть жизнеописания Жилия де Рэ; старался как можно более кратко описать его заслуги и добродетели.

– Они неинтересны, – заметил де Герми.

– Без сомнения. Лишь как символ чудовищной порочности сохранилось на протяжении четырех веков имя Жилия. Теперь я подошел к преступлениям. Самое трудное, по-моему, объяснить, каким образом этот доблестный военачальник и набожный христианин становится вдруг святотатцем, садистом, мерзостным злодеем.

– Я не знаю другого столь же внезапного переворота души.

– Биографы его поражены этим колдовским превращением души, этим духовным переждением, совершающимся, как в театре, по мановению жезла. Очевидно, в жизнь его вплелись пороки, следы которых утрачены, вторгались невидимые грехи, о которых умалчивают хроники. Сделав общую сводку документов, которые дошли до нас, мы находим следующее: Жиль де Рэ родился в 1404 году на границе Анжу и Бретани, в замке Машекуль. О его детстве мы не имеем никаких сведений. Отец его умер в конце октября 1415 года. Мать вскоре вступила во второй брак с неким сеньором д'Естувилем и покинула Жилия и его брата Рене де Рэ. Опекуном его делается дед, Жан де Граон, сеньор Шанптосе и Ла Сюэ, «человек дряхлый, древний, весьма престарелый», как гласят хроники. Тихий, беззаботный старик не пекся о нем, не следил за его воспитанием, но поспешил от него отделаться, женив его 30 ноября 1420 года на Екатерине де Туар.

Пятью годами позже Жиль де Рэ показывается, как удостоверено, при дворе дофина. Современники изображают его человеком нервным и могучим, опьяняюще красивым, на редкость изысканным. Источники молчат о положении, которое он занял при дворе, но, представив себе приезд Жилия, богатейшего из сеньоров Франции, к бедному королю, мы можем легко восполнить их.

Как известно, Карл VII находился тогда в крайности. Денег у него не было, он лишился обаяния и утратил почти всю власть. Ему повиновались лишь города вдоль Луары, и положение Франции, истощенной насилиями, несколько лет назад опустошенной чумой, было ужасно. Англия терзала ее до крови, высасывала до самого мозга, подобно сказочному осьминогу восстав из моря и охватив Бретань, Нормандию, часть Пикардии, Иль де Франс, весь север и сердцевины страны вплоть до Орлеана своими раскинутыми от залива жадными щупальцами, не оставлявшими после себя ничего, кроме разоренных городов и вымерших деревень.

Тщетными оставались призывы Карла, требовавшего вспоможений, изобретавшего поборы, выжимавшего налоги. Истощенные, покинутые города, населенные волками поля не могут помочь королю, права которого на престол сомнительны. Он горюет, где можно попрошайничает, изливается в напрасных просьбах. Его маленький двор в Шиноне становится гнездом интриг, кончающихся иногда убийствами. Утомленные облавами, чувствуя ненадежность убежища по ту сторону Луары, Карл и его сторонники в конце концов ищут в чрезмерном разврате утешения от надвигающихся бедствий. Грабежом и займами добывает себе это королевство одного дня на изобильные яства и пьяный разгул, в которых находит забвение беспрепятственных тревог и страхов. Осушая кубки и обнимая блудниц, презрительно отбрасывает он мысль о завтра.

Да и чего ждать наконец от короля ленивого, преждевременно поблекшего, рожденного бесстыдной матерью и безумным отцом?

– О! Все, что ты сказал о Карле VII, бледно в сравнении с его портретом, написанным Фукэ и находящимся в Лувре. Я часто останавливался перед этой презренной рожицей, перед

этим свиным рыльцем с глазами сельского ростовщика, с губами жалостливыми и лицемерными, наводящими на мысль о певчем. Порою кажется, что Фукэ изобразил простуженного порочного священника, чувствующего приступ пьяной грусти! Угадываешь, что этот выродившийся мелкий облик, не столько похотливый, сколько расчетливо-жестокий, упрямый и хищный, даст такого сына и преемника, как король Людовик XI. Не забудем, что он приказал умертвить Иоанна Бесстрашного и покинул Жанну д'Арк – уже этого довольно, чтобы вынести ему приговор!

– Правда. Итак, Жиль де Рэ, снарядивший за свой счет полки, был, наверное, принят при этом дворе с распростертыми объятиями. Он, несомненно, оплачивал расходы на турниры и пиры, царедворцы ретиво опустошали его кошелек, и он ссужал короля значительными деньгами. Но, несмотря на достигнутые успехи, он не уподобился Карлу VII и не погряз в обдуманно-похотливом сладострастии. Почти сейчас же после того мы находим его в Анжу и Мэне, которые он обороняет от англичан. Он выказал себя там «доблестным и отменным военачальником», как утверждают хроники, но, однако, вынужден был спастись бегством от подавляюще многочисленных врагов. Английские полчища соединялись, наводняли страну, растекались все дальше и дальше, проникали в самую сердцевину страны. Король думал спастись на юге, покинуть Францию, но как раз в этот миг выступила Жанна д'Арк.

Жиль возвращается к Карлу, и тот поручает ему охрану и защиту Девы. Он всюду следует за ней, охраняет ее в битвах, даже под стенами Парижа, он возле нее в Реймсе – в день коронации, когда во внимание к его доблестям, как выражается Монетреле, король назначает его – двадцатипятилетнего – маршалом Франции!

– Черт возьми, – прервал де Герми, – они быстро подвигались в те времена. Может быть, потому, что не были такими косными и тупыми, как раззолоченные сычи современности!

– О! Но не смешивай. Тогда титул маршала Франции не был еще тем, чем сделался он впоследствии в царствование Франциска I и особенно при императоре Наполеоне.

Как вел себя по отношению к Жанне д'Арк Жиль де Рэ? Источники об этом молчат. Балле де Виривиль, не приводя ни малейших доказательств, обвиняет его в предательстве. Аббат Боссар утверждает, наоборот, что Жиль был предан ей, ревностно охранял ее, и мнение это он подкрепляет достоверными соображениями.

Несомненно одно: пред нами человек, душа которого пропитана мистическими идеями, и доказательство тому – вся его жизнь. Он тесно соприкасается с необычной Девой, подвиги которой как бы доказывают, что возможно божественное вмешательство в земные судьбы.

Он созерцает чудо, как простая крестьянка укрощает двор негодяев и разбойников, как она вдохновляет трусливого короля, помышляющего о бегстве. Он свидетель невероятного события, как девушка, точно кротких овец, пасет диких ланей – Ла Гира и Ксэнтрэля, Бомануара и Шабанья, Дюнуа и Гокура, как, повинаясь ее голосу, они сбрасывают с себя свой природный облик и обрастают руном. Сам он, подобно им, несомненно, насыщается непорочной проповедью, причащается святых тайн утром перед битвами, обожает Жанну как святую.

Он видит наконец, что Дева исполняет свои обещания. Она добивается снятия осады с Орлеана, коронации короля в Реймсе и после того объявляет сама, что предназначение ее кончено, как о милости просит отпустить ее домой.

Можно биться об заклад, что мистицизм Жилия воспламеняется в такой среде. Пред нами человек, в котором душа воина сочеталась с душой монаха: человек, который...

– Прости, что перебею тебя, но я не убежден в такой степени, как ты, что вмешательство Жанны д'Арк было благотельно для Франции.

– Как?

– Да. Выслушай. Защитниками Карла VII главным образом, как тебе известно, были бандиты юга, пылкие, жестокие разбойники, проклинаемые даже тем народом, на защиту которого объявились. Столетняя война была в сущности войной юга с севером. Англия в те времена

была едина с Нормандией, ранее покорившей ее, передавшей ей расу, обычаи, язык. Если бы Жанна д'Арк не покидала дом и продолжала бы жить под материнским кровом, то очевидно, что Карл VII был бы лишен престола и войне наступил бы конец. Плантагенеты царили бы над Англией и Францией – странами, которые в доисторические времена, когда еще не существовал Ла-Манш, были единою землей, единым материком. Образовалось бы единое могучее королевство севера, которое, простираясь до провинций Лангедока, охватило бы в своих границах людей, близких по вкусам, страстям, нравам.

Коронование Валуа в Реймсе создало, наоборот, королевство без внутренней связи – Францию без смысла. Оно разъединило родственные связи и спланило народности, наиболее трудноплавкие, расы, наиболее враждующие. Оно – увы! – надолго наградило нас смуглолицыми людьми с блестящими глазами, потребляющими шоколад и жующими чеснок, людьми, которые скорее испанцы или итальянцы, но отнюдь не французы. Не будь Жанны д'Арк, Франция не принадлежала бы этому племени шумных хвастунов, ветреных и коварных, этой проклятой латинской расе, унеси ее дьявол!

Дюрталь пожал плечами.

– Каково! – заметил он, усмехаясь. – Ты рассуждаешь как человек, которому небезразличны судьбы отечества. Впрочем, я в этом не сомневался никогда.

– Ты прав, – отвечал де Герми, раскуривая потухшую папиросу. – Но я согласен с древним поэтом д'Естернадом: «Отечество мое там, где мне хорошо». А хорошо мне лишь с северянами! Но я перебил тебя. Вернемся к Жилю. На чем ты остановился?

– Не помню. Ах, да, я сказал, что Дева выполнила свою задачу. Теперь напрашивается один вопрос: что творится с Жилем, что предпринимает он после ее пленения и смерти? Никто не знает. Самое большее, что можно отметить, – присутствие его во время ее процесса в окрестностях Руана. Но отсюда еще слишком далеко до вывода некоторых его жизнеописателей, что он хотел попытаться спасти Жанну д'Арк!

Потеряв его после того из виду, мы находим его снова, когда двадцати шести лет от роду он уединяется в замке Тиффож. Теперь он уже не тот закоренелый воин и рубака, каким мы его знали. Вместе с зачатками порочных деяний в нем пробуждаются художник и писатель, и, сочетавшись с мистицизмом, которому он отдается, раскрывшиеся дарования Жилия подстрекают его к учнейшим жестокостям, к преступлениям самым утонченным.

Каким исключительным и одиноким для своего времени кажется этот сеньор де Рэ. В то время как тогдашние люди его круга уподобляются простым животным, он жаждет воскресить погибшую изысканность искусства, грезит о литературе разящей и далекой, сам сочиняет исследование, как вызывать демонов, обожает музыку церкви, стремится окружить себя редкостями, вещами, которых нельзя найти.

Он был ученым-латинистом, одаренным собеседником, благородным и верным другом. Владел библиотекой, исключительной для того времени, когда чтение ограничивалось теологией и житиями святых. До нас дошли и список, и описание некоторых его манускриптов: Светоний, Валерий Максим, Овидий на пергаменте, переплетенный в красную кожу, с серебряными вызолоченными застежками, запирающимся на ключ.

Он безумно любил эти книги, возил их повсюду с собой во время своих путешествий. Он пригласил к себе художника по имени Томас, украшавшего их литеры и оживлявшего текст миниатюрами. Сам он рисовал эмали, которые разысканный с большим трудом искусный мастер вставлял в серебряно-золотые доски переплетов. Ему нравились торжественные, причудливые предметы обихода. Он восторгался древними тканями, чувственными шелками, золотистыми сумерками старой парчи. Любил яства, изысканно приправленные пряностями, хмельные вина с утонченными ароматами. Грезил необычными драгоценностями, мятежными металлами, безумными камнями. Он был диссидент XV века!

Все это стоило дорого! Но еще дороже стоил ему пышный двор, окружавший его в Тиффоже, придававший этой крепости совершенно необычный вид.

Более двухсот человек составляли его свиту: рыцари, капитаны, конюшие, пажи, у всех были слуги, богато содержимые за счет Жилия. С безумием граничила роскошь его капеллы и ее духовенства. По степеням духовенства Тиффож мало чем отличался от столицы. Здесь были: декан, викарии, казначеи, каноники, клерки, дьяконы, наставники богословия, мальчики хора. Сохранилась перепись стихарей, епитрахилей, меховых облачений, головных уборов хора, сделанных из тонкого металла, опушенного дорогой белкой. Священной утвари было в изобилии. Мы встречаем: престольные покровы драгоценной золотой парчи, занавеси зеленого шелка, мантию малинового бархата, украшенную золотой узорчатой парчой, другую дамасского алого шелка, атласные дьяконские стихари, фигурные балдахины, расшитые кипрским золотом. Встречаем блюда, чаши, дароносицы, осыпанные, унизанные неграничными драгоценными камнями, украшенные геммами, встречаем реликвии и между ними серебряную голову святого Гонория – целую грудку искрометных драгоценностей, которые чеканит по своему вкусу художник, властвующий в своем замке.

Не уступали и другие траты. Его трапезы были открыты для званых и незваных. Целые караваны стекались со всех концов Франции к этому замку, в котором художники, поэты, ученые встречали княжеское гостеприимство, приветливое, ласковое обращение, подарки в память желанного свидания и щедрые дары при расставании.

Состояние его, уже ослабленное тяжелыми затратами, понесенными на войну, поколебалось от таких издержек. Тогда он ступил на гибельный путь займов. Он занимал у презренных торгашей, закладывал замки, продавал свои земли. Бывал иногда вынужден брать деньги под залог священной утвари, драгоценностей, книг.

– Приятно убедиться, – заметил де Герми, – что в Средние века люди разорялись немногим иначе, чем наши современники. Не было только Монако, биржи и нотариусов!

– Но зато были алхимия и колдовство! Из записки, которую подали королю наследники Жилия, видно, что его исполинское богатство растаяло менее чем в восемь лет!

Сегодня он за бесценок отчуждает некоему капитану конной службы свои сеньории Консоленс, Шабань, Шатоморан, Ломбер, завтра епископ Анжуйский покупает у него поместье Фонтень-Милон и земли в Гратенкюисе. Он за гроши продает Гильому де Ферон крепость Сен-Этьен де Мер-Морт, а некий Гильом де ла Жюмельер по низкой цене приобретает его замки Блезон и Шемилье и даже не платит ему денег. Взгляни, целый список кастелянств, лесов, соловарен, лугов, – пояснил Дюрталь, показывая длинный лист бумаги, на котором он составил перечень отчуждений и покупок.

– Семья маршала, уstraшенная этими безумствами, умоляет короля вмешаться. И действительно, в 1436 году Карл VII, «убедившись, как он выражается, в дурном хозяйствовании сира до Рэ», подписанным в Амбуазе указом Великого Совета запрещает ему продавать и отчуждать крепости, замки и земли.

Представь себе, что указ этот лишь ускорил разорение маршала. Герцог Бретанский Иоанн V, великий скряга и богатейший ростовщик того времени, отказался опубликовать указ в своих владениях, но тайно объявил его, однако, тем своим подданным, которые совершали сделки с Жилем. Из страха навлечь на себя ненависть герцога и опасаясь гнева короля, никто теперь больше не осмеливался покупать поместий у маршала.

Единственным покупателем остался Иоанн V, который устанавливал цену сам. Отсюда ты поймешь, как баснословно дешево продавалось имущество Жилия де Рэ! Этим объясняется также ярость Жилия на свою семью, испросившую королевский указ, объясняется, почему он навсегда отстранился от жены и дочери, которую отправил в отдаленный замок в Пузоже.

Итак! Возвращаясь к вопросу, который я только что затронул, к вопросу, как и почему Жиль покинул двор, я нахожу, что известный свет на это проливают события, мной изложенные.

Очевидно, что Карл VII был осаждаем жалобами жены и других родных Жилия еще задолго до того, как маршал отдался безрассудствам. Несомненно, что и царедворцы возненавидели этого юношу за его богатство и пышность. Король, который с таким легким сердцем покинул Жанну д'Арк, считая ее более для себя ненужной, нашел удобный случай отомстить и Жилию за оказанные ему маршалом услуги. Не упрекал же он Жилия в расточительности, когда нуждался в деньгах на свои попойки, на снаряжение полков. А теперь, видя его наполовину разоренным, он порицал его за щедрость, отстранился от него, не остановился перед поношениями и угрозами.

Понятно, что двор этот Жиль покинул без малейшего сожаления. Но, конечно, в нем говорили еще другие побуждения. Несомненно, он ощутил утомление от кочевой жизни, в нем пробудилось отвращение к походам войны. Он спешил, я уверен, удалиться в более мирную атмосферу, к своим книгам. Но главное, им целиком, по-видимому, завладела страсть к алхимии, ради которой он готов был бросить все. Наука эта ввергла его в демономанию, когда в предвидении надвигающейся бедности он надеялся делать золото, но не забудем, что он любил ее ради нее самой в те времена, когда был богат. Еще в 1426 году, когда сундуки его ломались от золота, пытался он впервые разрешить ее великие задачи.

Итак, мы находим его в замке Тиффоже, склоненным над ретортами. Начинаются злодеяния. Я изучаю этот период его жизни и хочу теперь дать последовательную картину преступлений чернокнижника, его смертоносного садизма.

– Но все это не объясняет, – заметил де Герми, – почему человек благочестивый вдруг делается поклонником сатаны, почему человек ученый и мирный превращается в осквернителя детей, в губителя отроков и дев.

– Я говорил тебе, что нет источников, которые помогли бы нам спаять эту жизнь, столь причудливо пересеченную на две половины. Но из моего рассказа ты, вероятно, угадываешь связующие нити. Разберемся точнее. Я только что отметил неподдельный мистицизм этого человека. Он был свидетелем самых необычных событий, которые развертывала когда-либо история. Появление Жанны д'Арк окрылило, конечно, устремление его духа к Богу. Но от пламенного мистицизма всего лишь шаг до безумия сатанизма. Все соприкасается в потустороннем мире. Пламя его молитв излилось на почву сатаны. И на это его подтолкнула, направила толпа святотатственных священников, алхимиков, заклинателей демонов, которыми он был окружен в Тиффоже.

– Значит, по-твоему, Дева явилась причиной злодеяний Жилия?

– До известной степени – да. Предполагая, конечно, что она распалила душу, не знающую меры, готовую на все, одинаково способную и на самозабвенные подвиги святости, и на чудовищные преступления. Он не знал срединных влияний. Сейчас же после смерти Жанны он попал в руки волшебников, людей, бывших самыми отменными злодеями, но также и замечательнейшими учеными того времени. Посещавшие его в Тиффоже гости были ревностными латинистами, занимательными собеседниками, владели знанием сокровенных, чудодейственных составов, хранили тайны древности. С ними, а не с каким-нибудь Дюнуа или Ла Гиром должен был общаться такой человек, как Жиль. Маги эти, которых все биографы в полном согласии и несправедливо изображают пошлыми тунеядцами и презренными мошенниками, на мой взгляд, в общем они представляли собой интеллектуальную знать XV века. Не найдя себе почему-либо места в церкви, в иерархии которой они не согласились бы на меньшее, чем сан кардинала или даже папы, они вынуждены были в те времена невежества и смуты искать убежища у такого могущественного властелина, как Жиль, которого я считаю единственным сеньором того века, по уму своему и развитию способным их понять.

Подведем итог: естественный мистицизм, с одной стороны, ежедневное соприкосновение с учеными, проникнутыми сатанизмом, – с другой. Вероятность надежды, что воля дьявола рассеет грозный призрак надвигавшегося обнищания, пламенный, безумный интерес к запретным знаниям. Все это объясняет, что по мере того, как постепенно крепнут узы, связующие его с миром алхимиков и чародеев, он бросается в оккультизм, который ему внушает невероятнейшие злодеяния.

Переходя затем к умерщвлению детей, не забудем, что Жиль решается на них не сразу. Лишь изведав тщету алхимии, начинает он осквернять и убивать отроков и, в сущности, не слишком резко отличается в этом отношении от современных ему сеньоров.

Он превосходит их пышностью разврата, избытком своих убийств, но и только. Да, правда! Прочти Мишле. Ты увидишь, какими грозными хищниками были знатные господа того времени. Ты узнаешь о некоем сире де Паке, который, отравив жену, привязывает ее к коню и волочит еле живую целых пять лье до тех пор, пока она не умирает. Другой, имя которого я забыл, схватив своего отца, ведет его босым по снегу, потом спокойно ввергает его в подземную темницу, где тот испускает дух. А сколько еще других! Тщетно искал я следа злодеяний маршала в битвах и набегах. Я не нашел ничего, кроме обозначившегося в нем влечения к виселице. Он любил вешать отставших французов, захваченных в рядах англичан или в городах, непокорных королю.

С тяготением к этой жестокости мы встретимся позже в замке Тиффож.

Присоедини наконец ко всем этим причинам еще безмерную гордость, вот слова, произнесенные им во время процесса: «Я рожден под столь исключительной звездой, что совершил дела, каких не совершал никто никогда в мире и совершить не сможет».

И правда! Маркиз де Сад в сравнении с ним лишь трусливый мещанин, жалкий мечтатель!

– Если недостижима святость, то остается сделаться слугою сатаны, – заметил де Герми. – Одна из двух крайностей. Презрение бессилия, ненависть к посредственности – таково, по моему, одно из наиболее снисходительных пониманий культа дьявола!

– Пожалуй. Я допускаю, что можно гордиться чудовищной греховностью, подобно тому, как святой гордится святостью. В этом весь Жиль де Рэ!

– И все-таки ты взялся за тяжелую задачу.

– Согласен. Сатана непроницаемо грозен в Средние века. Но, по счастью, у нас такое изобилие документов.

– А в наше время? – спросил де Герми, вставая.

– В наше время?!

– Да, в нашей современности, в которой сатанизм цепко держится, связанный отдельными нитями со Средневековьем.

– Ах! Вот что! Ты думаешь, что в наше время еще вызывают дьявола и славословят черные мессы?

– Да.

– Ты уверен?

– Безусловно.

– Ты поражаешь меня. Но, черт возьми, знаешь, старина, если бы мне удалось видеть такие действия, это чрезвычайно облегчило бы мне мою работу. Нет, кроме шуток, убежден ты, что в современности есть ядро бесовствующих, имеешь ты доказательства?

– Да, но поговорим об этом после, сейчас я спешу. Кстати, если хочешь, то завтра вечером у Карэ, у которых мы обедаем. Не забыл ты? Я зайду за тобой. До свидания! А пока подумай над словами, сказанными тобой о магах: «Если бы они вступили в иерархию церкви, они не согласились бы на меньшее, чем сан кардинала или даже папы». И вспомни, как ужасно духовенство наших дней!

В этом если не все, то важнейшее объяснение современного культа дьявола. Нет зрелого сатанизма без священника-святотатца.

– Но чего же домогаются такие священники?

– Всего, – кратко ответил де Герми.

– Значит, они подобны Жиль де Рэ, просившему у демона знаний, могущества, богатства, всего, что жаждет человечество в начертанных собственной кровью письменах!

V

– Скорее входите и согрейтесь! Ах, господа, нам наконец совестно, – говорила госпожа Карэ, видя, как Дюрталь вынимает из кармана завернутые бутылки, а де Герми выкладывает на стол перевязанные пакетики. – Вы слишком много тратите.

– Нам это приятно, госпожа Карэ. А ваш муж?

– Он наверху и сердится с самого утра!

– Боже мой, неужели человека тянет на башню в такой адский холод! – заметил Дюрталь.

– О! Дело не в башне, ему досадно за колокола. Но раздевайтесь!

Они сняли пальто и подошли к печке.

– У нас не слишком жарко, – начала она снова. – Чтобы нагреть наше жилище, нужно бы, знаете ли, беспрерывно топить и днем, и ночью.

– Купите переносную печку.

– Ну нет, здесь, пожалуй, задохнешься от угара!

– Без каминов это вряд ли особенно удобно, – вставил де Герми. – Но если провести к окну приставные трубы так же, как проходит вытяжная труба печки... Кстати, по поводу этих приборов, обрати внимание, Дюрталь, как превосходно воплощают утилитаризм времени, в которое мы живем, эти отвратительные железные кастрюли. Подумай. Современный инженер, которого оскорбляет всякая вещь по виду не угрюмая и не пошлая, весь отразился в этом изобретении. Он говорит нам: вы хотите тепла, я дам вам тепло, но ничего больше. Изгоняется все, что приятно глазу. Долой треск и песенки дров, долой мягкое, нежное тепло! Только полезное, и нет места прекрасным язычкам пламени, вспыхивающим в груди угля от прогоревших сухих, звонких дров!

– Но разве нет железных печей, в которых огонь виден? – спросила госпожа Карэ.

– Есть, что еще горше! Еще печальнее, когда огонь закрыт слюдяной заслонкой, пламя заточено в темницу! Ах! Как хороша деревенская связка хворосту, виноградных прутьев, приятно пахнущих, с золотистым отблеском! Современная жизнь положила этому конец. И роскошь, которой пользуется беднейший крестьянин, в Париже доступна теперь лишь людям, владеющим значительными доходами!

Вошел звонарь. Кончики его щетинистых усов заиндевели и, облеченный в суконную шапку с наушниками, баранью шубу, меховые рукавицы и калоши, он походил на самоеда, явившегося с Северного полюса.

– Я не подаю вам руки, – сказал он, – я весь в сале и масле. Что за погода! Представьте, я смазывал колокола сегодня с самого утра... И все-таки боюсь за них!

– Но почему?

– Как почему? Вы сами знаете, что металл от холода сжимается, трескается, ломается. Бывали жестокие зимы, творившие здесь много бед. Да, колокола, как и мы, терпят от такой погоды!

– Есть у тебя теплая вода, моя милая? – спросил он у жены, направляясь в смежную комнату, чтобы умыться.

– Хотите, мы поможем вам накрыть на стол? – предложил де Герми.

Но жена Карэ восстала.

– Нет, нет, сидите, обед готов.

– И пахнет недурно! – воскликнул Дюрталь, втягивая аромат кипевшего супа, от которого разносился острый запах сельдерея, мешаясь с запахом других душистых овощей.

– За стол! – пригласил Карэ, уже умытый и переодевшийся в блузу.

Они уселись. Трещала печь, в которую подкинули дров. Дюрталь почувствовал, как, овеянная теплом, отогрелась вдруг его тоскливая, пустынная душа. Он у Карэ! Так далеко от Парижа! Так далеко от действительности сегодняшнего дня!

Каким мирным, приветливым, нежным казалось ему это бедное, скудное жилище! Ему нравилось деревенское убранство стола, нравились и эти славные стаканы, и эта чистая тарелка с полусоленным маслом, и кувшин с сидром. Все вместе создавало семейную картину интимной трапезы, освещенной довольно ветхой лампой, которая бросала серебряно-золотистые лучи на грубую скатерть.

Кстати, к следующему же разу, когда мы придем сюда обедать, я куплю в каком-нибудь английском магазине банку апельсинового варенья, это восхитительный десерт, подумал Дюрталь. По уговору с де Герми они, приходя обедать к звонарю, всегда приносили сами часть блюд.

Карэ готовил суп, какой-нибудь простой салат и угощал сидром. Чтобы не вводить его в траты, они приносили с собой вино, кофе, водку, десерт и притом с таким расчетом, чтобы остатки их приношений покрыли расход на суп и жаркое, которых Карэ с женой хватило бы на несколько дней, если бы они обедали одни.

– Сегодня – вот что! – сказала жена Карэ, разливая сотрапезникам красноватый суп, сверху подернутый коричневым налетом и унизанный жирными пятнами топазового цвета.

Суп был крепкий, питательный, но вместе с тем и изысканный, от вареных куриных потрохов получивший особую тонкость вкуса. Все молчали, занятые едой, сидели с довольными лицами, втягивая запах душистого супа.

– Как раз время повторить любимую поговорку Флобера: так вкусно нельзя пообедать в ресторане, – заметил Дюрталь.

– Не будем нападать на рестораны, – ответил де Герми, – они дают совершенно особое наслаждение людям, умеющим наблюдать. Слушайте, что случилось со мной два дня тому назад: возвращаясь от больного, я зашел в одно из таких учреждений, где человек за три франка имеет право съесть суп, два блюда по выбору, салат и десерт.

В ресторане этом, в который я захожу приблизительно раз в месяц, бывают постоянные посетители, люди хорошо воспитанные и требовательные – зажиточные офицеры, члены парламента, чиновники.

Изнемогая над отвратительной камбалой под хлебным соусом, я рассматривал сидевших около меня завсегдатаев и нашел, что они удивительно изменились со времени моего последнего прихода. Одни похудели, другие сделались одутловатее. У некоторых глаза были очерчены синевой и ввалились, у других под глазами появились красноватые мешки. Люди тучные пожелтели, худые позеленели.

Очевидно, забытые яды Ехiі, страшные варева, изготовлявшиеся в этом доме, медленно отравляли его посетителей.

Вы, конечно, поймете, что я заинтересовался этим, восстановил в своей памяти учение о ядах и, старательно проверяя себя за едой, открыл следующее – отвратительные приправы, насыщенные толченым углем и дубильной кислотой, скрывали вкус гнилой, отравленной трупным ядом рыбы.

Говядина скрывалась подливками, пряталась под соусами грязного цвета, вина были подкрашены фуксином, благоухали жженой пробкой, были сдобрены патокой и гипсом!

Я обещал себе заходить туда каждый месяц, чтобы наблюдать гибель всех этих людей!..

– О! – вставила госпожа Карэ.

– Однако ты тоже не чужд сатанизма! – воскликнул Дюрталь.

– Знаете, Карэ, он теперь у цели, хочет беседовать о сатанизме, не давая нам даже передохнуть. Положим, я обещал ему, что мы поговорим у вас сегодня вечером об этом, – и, отвечая на удивленный взгляд звонаря, он пояснил: – Вчера Дюрталь, который, как вам известно,

работает над историей Жиль де Рэ, объявил, что он всесторонне изучил культ дьявола в Средние века. Я спросил его, знаком ли он с сатанизмом современности. Он засмеялся, усомнившись, что теперь совершаются такие действия.

– К сожалению, это чистейшая правда, – подтвердил угрюмо Карэ.

– Но сначала позвольте мне задать де Герми один вопрос, – сказал Дюрталь. – Ответ без шуток, спрячь на минуту твою всегдашнюю затаенную усмешку, отвечай откровенно: да или нет, веришь ты в католицизм?

– Он, – воскликнул звонарь, – он хуже неверующего! Он – еретик!

– Дело в том, – объяснил де Герми, – что меня влечет манихейство, и я склонился бы к нему, будь у меня хотя какая-либо ода. Манихейство – одна из древнейших и простейшая религия. Во всяком случае она лучше всего объясняет мерзостный смрад нашего века.

Начало зла и начало добра, Бог света и Бог мрака, оспаривающие друг у друга власть над нашей душой, – это, по крайней мере, ясно. Сейчас, очевидно, повергнут Бог добра, и Бог ада дарит над нашим миром. И бедному Карэ, которого приводит в отчаяние это учение, в сущности, не в чем упрекнуть меня, так как сам я сторонник побежденного! Согласитесь, что подобная мысль благородна, такое убеждение достойно уважения!

– Но манихейство невозможно! – воскликнул звонарь. – Немыслимо одновременное бытие двух бесконечностей!

– Все невозможно пред доводами разума. Начните исследовать католическую догму, и, будьте спокойны, вся она сейчас же рухнет! Доказательство возможности одновременного бытия двух бесконечностей я вижу в том, что идея эта недоступна человеческому разуму и относится к числу тех, о которых говорит Эклезиаст: «Не исследуй более Высокое, чем ты, ибо есть много вещей, относительно которых доказано, что они превосходят силы человеческого разумения». Уже одно то, что манихейзм был утоплен в волнах крови, указывает на его достоинство. В конце XII века сожжены были тысячи альбигойцев, исповедовавших это вероучение. Я не решаюсь, впрочем, утверждать, что манихейцы не извращали никогда своей религии, что они не служили дьяволу! Но в этом я не на их стороне, – мягко прибавил он после молчания, выждав, пока госпожа Карэ, вставшая, чтобы переменить тарелки, не вышла, чтобы достать жаркое. – Пока мы одни, – продолжал он, проследив, пока она не скрылась на лестнице, – я могу рассказать, что совершали они. Один замечательный человек по имени Пселл сообщает нам в своей книге, озаглавленной «De operatione Daemonum», что перед исполнением своих обрядов они вкушали...

– Какой ужас! – воскликнул Карэ.

– О! Так как они причащались под обоими видами, проделывали вещи и похуже, – продолжал Герми. – Они убивали детей, смешивали их кровь с золой, и тесто это, разведенное в питье, представляло собой вино причастия.

– Ого! Но это подлинный сатанизм, – сказал Дюрталь.

– Как видишь, друг мой, я иду тебе навстречу.

– Я уверена, что де Герми опять угощал вас страшными рассказами, – пробормотала госпожа Карэ, внося блюдо с куском мяса, обложенного овощами.

– Вовсе нет! – защищался де Герми.

Они засмеялись; Карэ нарезал говядину, жена его разлила стаканам сидр, а Дюрталь откупорил банку с анчоусами.

– Боюсь, не переварилась ли она? – начала г-жа Карэ, которую говядина интересовала больше, чем действия того мира, и прибавила знаменитое изречение хозяек:

– Говядина плохо режется, когда хорош суп.

Мужчины возражали, утверждая, что мясо не жесткое и не переварилось.

– Возьмите анчоус и немного масла, господин Дюрталь.

– Послушай, жена, угости нас красной капустой, которую ты приготовила, – попросил Карэ. Бледное лицо просветлело, а большие собачьи глаза увлажнились. Очевидно, он чувствовал себя счастливым, наслаждался, сидя за столом в обществе своих друзей, в уютной теплой комнате своей колокольни.

– Опорожняйте же ваши стаканы, господа, вы ничего пьете, – угощал он, подняв кувшин с сидром.

– Итак, ты утверждал вчера, де Герми, что сатанизм никогда не прерывался со времен Средневековья, – заговорил Дюрталь, желавший скорее навести беседу на мучивший его вопрос.

– Да! Об этом свидетельствуют неопровержимые документы. Если хочешь, можешь сам убедиться в их достоверности.

Ты знаешь, какие размеры принял сатанизм в начале XV века, – я не касаюсь более раннего времени, – века Жилия де Рэ. В XVI веке дело обстояло, пожалуй, еще хуже. Я не сомневаюсь, что ты знаешь о договорах с демонами, заключенных Екатериной Медичи и Валуа, о процессе монаха Иоанна де Во, расследованиях, произведенных Шпренгером и де Ланкром – учеными инквизиторами, которые сожгли на кострах тысячи колдунов и заклинателей мертвецов. Все это вещи общеизвестные. Я, пожалуй, назову еще священника Бенедикта как наименее извращенного. Он был в связи с дьяволицей Армелиной... Перейдем теперь к нитям, связующим те века с нашим. В XVII веке продолжают процессы колдунов, появляются лудэнские одержимые и процветает черная месса, облеченная теперь большею таинственностью, совершаемая более скрытно! Если хочешь, я приведу тебе пример, один из многих других. Некий аббат Гибург посвятил себя этим действиям. На стол, превращенный в жертвенник, ложилась совершенно обнаженная или закинувшая платье до подбородка женщина и, раскинув руки, держала в каждой зажженные свечи в течение всей службы.

Гибург отслужил такие мессы на животе госпожи де Монтеспан, госпожи д'Аргенсон, госпожи де Сен-Понт. Мессы эти в царствование великого короля бывали весьма многолюдными. Многие женщины стремились попасть на них так же, как в наше время они любопытно идут к прорицателю погадать о своем счастье.

Ритуал этих обрядов отличался изрядной жестокостью. Доставали обычно ребенка и сжигали его в печи, в деревне. Пепел хранили и, умертвив другого ребенка, смешивали пепел этот с кровью, подобно тому, как это делали манихейцы. Аббат Гибург совершал службу, освящал облатку, резал ее на кусочки, смешивал с потемневшей от примеси пепла кровью. Эта смесь служила материалом для таинств.

– Что за чудовище в образе священника! – негодуяще воскликнула жена Карэ.

– Да. Аббат этот служил еще мессу другого рода. Она называлась... Однако я, черт возьми, затрудняюсь передать...

– Говорите, господин де Герми. Тем, кто, как мы, чувствует отвращение к подобным вещам, можно сказать все; будьте уверены, это не помешает мне молиться сегодня вечером.

– Мне также, – прибавил ее муж.

– Хорошо, итак – это жертвоприношение называлось мессой спермы.

– А!

– Гибург разоблачался, снимал ризу, епитрахиль, орарь и служил названную мессу исключительно с целью получить составы для заклинаний.

Из архивов Бастилии мы знаем, что он совершил ее по просьбе некоей дамы по имени Дезэйлетт.

Недомогавшая женщина эта должна была дать частицу своей крови. Мужчина, сопровождавший ее, удалился в укромный закоулок комнаты, в которой происходило действие, и Гибург собрал в чашу его сперму. Потом он прибавил кровь и муку и, после кощунственной церемонии, Дезэйлетт ушла, унося с собой тесто.

– Боже, какая мерзость! – простонала жена звонаря.

– В Средние века, – вставил Дюрталь, – мессу совершали иначе. Спина нагой женщины заменяла жертвенник, в XVII веке жертвенником был живот. А теперь?

– Теперь женщина редко служит жертвенником. Но не будем забегать вперед.

В XVIII веке мы снова встречаемся с аббатами, предавшими святость своего сана. Многочисленные последователи окружают их!

Один из них, каноник Дюре, посвятил себя занятиям черной магией. Заклинал мертвецов, вызывал дьявола. Его казнили за колдовство в лето по Рождестве Христовом 1718-е.

Другой – аббат Бекарелли, – веровавший в духа святого утешителя, вызвал сильное смятение умов в Ломбардии и учредил там двенадцать апостолов и двенадцать дьяконов, возложив на них проповедь своего учения. Подобно всем священникам этого толка, он погряз в разврате с обоими полами и служил мессу, не очищаясь предварительно исповедью от прегрешений своей похоти. Впал постепенно в грех кощунственного служения, за которым раздавал присутствующим сладострастные лепешки, имевшие ту особенность, что, проглотив их, мужчины считали себя женщинами, а женщины мужчинами.

Рецепт этого чудадейства утрачен, – продолжал де Герми, улыбнувшись с оттенком грусти. – Кончил аббат Бекарелли тоже печально. Привлеченный к суду за святотатство, он был приговорен в 1708 году к семи годам галер.

– Вы так увлеклись этими страшными рассказами, что ничего не едите. Еще кусочек мяса, господин де Герми, – прервала его жена звонаря.

– Нет, благодарю. Но я вижу сыр и, по-моему, нам пора приняться за вино. – И он откупорил одну из принесенных Дюрталем бутылок.

– Оно превосходно! – воскликнул звонарь.

– Оно не слишком слабо, я достал его в одном из погребков возле набережной, – пояснил Дюрталь. – Я вижу теперь, – продолжал он, помолчав, – что неслыханные преступления преемственно сохранились со времен Жиль де Рэ. Вижу, что во все века бывали павшие священники, дерзавшие совершать богохульные злодеяния, и все же в наше время это кажется неправдоподобным. Теперь не умерщвляют, по крайней мере детей, как во времена Синей Бороды и Гибурга!

– Скажите лучше, что правосудие не расследует этого и что теперь не умерщвляют открыто, но убивают намеченные жертвы средствами, которых не хочет знать официальная наука. Ах, если бы могли говорить исповедники! – воскликнул звонарь.

– Но объясните мне, к какому миру принадлежат люди, предающиеся теперь культу дьявола?

Де Герми ответил:

– Из духовенства – это высшие миссионеры, приходские исповедники, прелаты и игумены. Средоточие современной магии находится в Риме, ей предаются высшие сановники церкви. Что касается мирян, то они вербуются из богатых классов. Ничего нет удивительного, что такие скандалы обычно заглушаются, если случайно их откроет полиция!

Но допустим, что в известных случаях жертвенное служение дьяволу действительно не обогрено предварительным убийством, что они ограничиваются кровью зрелого зародыша, получаемого от выкидыша. Но дело не в этом. Кровавая жертва – лишь тонкое, изысканное блюдо, острая приправа. Главный вопрос в том, чтобы освятить облатку и над ней надругаться; в этом вся суть; остальное меняется, сейчас нет установленного ритуала черной мессы.

– Значит, для служения этих месс нужен настоящий священник?

– Разумеется. Только он сможет осуществить таинство перевоплощения. Я хорошо знаю, что некоторые оккультисты считают себя посвященными Господом Богом, как святой Павел, и воображают, что могут служить настоящие мессы как заправские священники. Это просто

смешно. Но и без настоящих месс и отвратительных священников люди, одержимые манией кощунства, осуществляют все-таки поругание святыни, если к тому стремятся.

– Послушай-ка!

– В 1855 году в Париже существовало общество, состоявшее главным образом из женщин. Эти женщины причащались по несколько раз в день, причем освященные частицы тела Христова сохраняли во рту, чтобы потом растоптать их или осквернить нечистыми прикосновениями.

– Ты в этом уверен?

– Вполне. Эти случаи были разобраны в духовном журнале «Анналы святости», и архиепископ парижский не мог их опровергнуть! Добавлю, что в 1874 году в Париже также нанимали женщин для совершения этих ужасных поступков. Им платили за каждый кусок, потому они ежедневно приходили к святой трапезе в различные церкви.

– Послушайте, – начал, в свою очередь, Карэ, поднявшись и достав из книжного шкафа тоненькую синюю брошюру. – Взгляните, что сообщает «Голос Седьмицы» от 1843 года. Вы прочтете здесь, что в Ажене в продолжение двадцати пяти лет существовало общество бесовствующих, не перестававшее служить черные мессы...

Заметьте, что его преосвященство, аженский епископ – прелат набожный и добродетельный – ни разу не решился выступить с отрицанием ужасов, содеянных в его епархии!

– Говоря между нами, – продолжил де Герми, – XIX век изобилует нечестивыми аббатами. К сожалению, трудно запастись достоверными документальными доказательствами. Ни одно духовное лицо не будет хвалиться подобными злодеяниями. Те, которые служат кощунственные мессы, облачают их тайной, выдают себя ревностными христианами. Некоторые объявляют себя даже защитниками веры Христовой, заклиная одержимых.

Здесь – верх их коварства. Они сами же создают одержимых. В лице их приобретают себе – особенно в монастырях – покорных соучастников. Все смертоубийственные и садические безумства они укрывают тогда под древним и благочестивым покровом заклинания одержимых!

– Будем беспристрастны, – заметил Карэ, – чудовищное лицемерие вполне сочетается со всем их обликом.

– Самым мерзостным грехом порочных священников я считаю гордыню и лицемерие, – высказал Дюрталь, а де Герми продолжал:

– Несмотря на все предосторожности, все тайное делается в конце концов явным. До сих пор мы говорили о местных сообществах слуг сатаны. Но есть еще другие, более обширные, раскинувшие свою паутину в Старом и Новом Свете. Культ дьявола, так сказать, объединился – черта чисто современная, – воспринял более совершенные приемы управления. Он слагается из комитетов, подкомитетов, на вершине его курия, правящая Америкой и Европой, подобно курии св. Престола.

Самым распространенным из этих обществ является основанное в 1855 году общество возрожденных теургических оптиматов. Под личиной видимого единства оно распадается на две ветви: первая домогается разрушить мир, чтобы воцариться на развалинах, вторая лишь мечтает установить во всем мире культ сатаны и явиться первосвященником бесовства. Общество это управляется из Америки, где им руководил ранее Лонгфелло, именовавшийся первосвященником новой магии заклания. Долгое время разветвления его существовали во Франции, Италии, Германии, России, Австрии, даже в Турции.

Сейчас оно или в полном упадке, или совсем исчезло, но нарождается другое, замыслившее избрать антипапу, в котором воплотился бы антихрист-разрушитель. Я назвал вам лишь два общества. Но сколько еще других, более или менее многолюдных, более или менее тайных, которые по взаимному согласию служат в десять часов утра черные мессы в Париже, Риме,

Брюгге, Константинополе, Нанте, Лионе и столь изобилующей чернокнижниками Шотландии в день праздника св. Тела Господня!

Кроме этих всемирных сообществ или местных союзов, сколько еще единичных случаев, изредка озаряемых мерцанием света, который так трудно на них пролить. Несколько лет назад умер некий граф де Лотрек, уединившийся от мира и обуреваемый раскаянием. Он заколдовал статуи святых и подносил их в дар церквям, чтобы они обращали верующих в бесовство. В Брюгге священник, лично мне известный, осквернял святую дароносицу, пользуясь ею для волхования и порчи. Наконец я укажу в числе прочих на очевиднейший пример бесовства некоей Кантианиллы, который потряс не только город Оксерр, но и всю епархию Сенса.

Названная Кантианилла, помещенная в монастырь св. Сьюльпиция, была осквернена одним священником, посвятившим ее дьяволу. Священник этот сам с детства был растлен неким духовным лицом, принадлежавшим к секте бесовствующих, основанной вечером того самого дня, в который отрубили голову Людовику XVI.

Некоторые монахини этого монастыря, очевидно, охваченные истерией, отдались вслед за Кантианиллой эротическому безумию и кощунственному беснованию, и действия, ими совершенные, удивительно напоминают разоблачения прошлогодних процессов магии, историю Гофреда и Мадлэны Палюд, Урбэна Грандье и Мадлэны Баван, иезуита Жирара и ла Кадьер, жизнь которых чрезвычайно поучительна как для освящения культа дьявола, так и для истории. Известно, что Кантианиллу удалили из монастыря и отдали под начало одному из священников той же епархии, аббату Торэ. Но не смог тот устоять от соблазна. В Оксере разыгрались скоро такие скандальные события, такие ужасы бесовства, что потребовалось вмешательство епископа. Кантианилла была выслана из области, аббат Торэ подвергнут дисциплинарной каре и обо всем послано донесение в Рим.

Любопытно, что епископ подал в отставку, уstraшенный увиденным им, и удалился в Фонтенбло, где умер два года спустя, до самой смерти не оправившись от потрясения.

– Друзья мои, – объявил Карэ, посмотрев на свои часы, – восемь без четверти. Мне пора идти на колокольню и звонить вечерний Angelus. Не дожидайтесь меня, пейте кофе, я вернусь через десять минут.

Он облачился в свой гренландский костюм, зажег фонарь и открыл дверь. Ворвался леденящий порыв ветра.

Во тьме крутились белые снежинки.

– Ветер в бойницы наметает снег на лестницу, – сказала жена. – Я всегда боюсь, что Луи схватит в такую погоду воспаление легких. Кофе готов, господин де Герми, прошу вас, наливайте его сами. Мои бедные ноги не слушаются меня в такой поздний час. Пора на отдых!

Они пожелали ей доброй ночи и де Герми вздохнул:

– Дело в том, что мамаша Карэ преисправно стареет. Я старательно прописываю ей тоническое, но это ни капельки не помогает. Очевидно, иссякли силы ее. Слишком часто приходилось взбираться бедной женщине по лестницам!

– Ты рассказал мне много любопытного, значит, в общем, черная месса – символ современного бесовства!

– Да. Наряду с колдовством, инкубатором и суккубатором. Их я опишу тебе в другой раз или лучше сведу тебя с большим знатоком этого вопроса, чем я. Кощунственная месса, колдовство и суккубат – такова истинная сущность сатанизма!

– А что же делали с облатками, освященными при кощунственных мессах, если их не уничтожали?

– Но я же сказал тебе – их оскверняли. Вот, послушай. – И Герми взял из библиотеки звоняря и начал перелистывать пятый том «Мистики» Гёрреса. – Вот к чему это сводилось: «Эти священники доходят в своей гнусности до того, что совершают мессу над большими облатками,

из которых потом вырезают середину и, наклеив на таким же образом прорезанный пергамент, пользуются ими отвратительным образом для удовлетворения своих страстей».

– Божественная содомия?

– Конечно!

В этот миг на башне раздался звон колокола, в который ударил звонарь. Комната, в которой сидел Дюрталь, задрожала, как бы затряслась. Казалось, что со стены винтообразно струятся волны звуков, что их источают каменные глыбы, в музыке звона переносишься на дно тех раковин, в которых, если приложить их к уху, шелестят отзвуками переливающегося рокотания волны. Привычный к этому оглушительному звону де Герми невозмутимо занялся кофе, подогревая его на печке.

Колокол зазвонил медленнее, удары его смягчились. Оконные стекла, витрины книжного шкафа, стоявшие на столе стаканы стихали, звеня тонким, прозрачным перезвоном, издавая почти умирающие стоны.

На лестнице послышались шаги. Вошел Карэ, засыпанный снегом.

– Боже, детки мои, что за ветер! – Он отряхнулся, бросил на стул шубу, загасил фонарь. – Снег пробивается где только можно, рвется в бойницы, слуховые окна, между перекладин! Собачья зима! Хозяйка уже улеглась! Но вы не пили еще кофе? – продолжал он, видя, как Дюрталь разливает кофе по стаканам.

Подойдя к печке, он оживил огонь, вытер глаза, на которых от резкого холода выступили слезы, выпил глоток кофе.

– Так вот! Как ваши рассказы, де Герми?

– Я кончил краткое описание культа сатаны, но не сказал еще ни слова о подлинном чудовище, сатанинском апостоле, который действует в наши дни, об этом мерзостном аббате...

– О! Берегитесь. Самое имя этого человека приносит беду! – остановил его Карэ.

– Пустое! Каноник Докр – так зовут его – против нас бессилен. Признаюсь, я плохо понимаю ужас, который он вселяет. Но пока бросим это... По-моему, лучше всего Дюрталю сначала поговорить с вашим другом Гевенгэ, который, по-видимому, лучше и глубже, чем кто другой, знает каноника.

Беседа с Гевенгэ чрезвычайно облегчила бы мне дальнейшее ознакомление Дюрталя с бесовством, особенно с колдовством и суккубатов. Как думаете вы, если пригласить его сюда к обеду вместе с нами?

Карэ погладил в раздумье голову и вытряхнул на ноздь пепел трубки:

– Дело в том, что мы с ним сейчас немного в ссоре.

– Как? Из-за чего?

– О! Пустяки! Я помешал здесь однажды его опытам. Но налейте себе еще стаканчик, господин Дюрталь, и вы, де Герми, вы, господа, совсем не пьете! – Закурив папиросы, оба они нацедили себе из едва початой бутылки по несколько капель коньяку. Звонарь продолжал:

– Гевенгэ – набожный христианин и честный человек, хотя и астролог, возобновить с ним знакомство было бы приятно мне... Так вот, представьте себе, он хотел гадать на моих колоколах... Вы удивляетесь, но это так. В старину колокола играли роль в запретных знаниях. Искусство прорицать будущее при помощи издаваемых ими звуков есть одна из наиболее неизвестных и заброшенных отраслей оккультизма. Гевенгэ разыскал древние документы и хотел проверить их на колокольне.

– Что же он делал?

– Я ничего не понял сам! Рискуя провалиться и сломать себе шею о перекладины, он – при его-то годах! – забирался под колокол. Влезал внутрь по пояс, покрывал себя, так сказать, до бедер чашей колокола. Говорил сам с собой и вслушивался в трепетание бронзы, отражавшей звуки его голоса. Он толковал мне также сны, имеющие касательство к колоколам. По его словам, угрожает беда человеку, которому приснится раскачивающийся колокол. Слышать во

сне колокольный перезвон означает быть оклеветанным. Если колокол упадет, то это достоверное предвещание горячки, если лопнет – бедности и невзгод. Наконец я еще припоминаю, как он рассказывал мне, что если ночные птицы кружатся около колокола, освещенного луной, то это несомненное указание, что в церкви совершается святотатство или же настоятелю грозит смертная опасность.

Подобное отношение к колоколам, предметам, на которых почиет благодать освящения, залезание внутрь чаши, пользование ими для прорицаний, для толкования снов, открыто запрещаемого Книгой Левит, не понравилось мне, и я довольно резко попросил его прекратить эту забаву.

– Но вы не сердиты на него?

– Нет. Говоря откровенно, я теперь раскаиваюсь даже в своей вспыльчивости!

– Хорошо. Я улажу это, навещу его, – сказал де Герми. – Итак, решено, правда?

– Согласен.

– А теперь пора дать вам спать. Вам завтра надо подниматься на рассвете.

– О, ничего! Я встану завтра в пять с половиной, чтобы в шесть прозвонить Angelus, а потом до восьми без четверти у меня нет звона, так что, если пожелаю, могу прилечь снова... Всего несколько перезвонов за обедней настоятеля – это, знаете, не тяжело...

– Гм! Если бы я должен был вставать так рано... – заметил Дюрталь.

– Дело привычки. Но выпейте еще по стаканчику перед уходом. Нет? Решительно нет? Тогда в путь. – Он засветил фонарь, и они пошли вниз, вздрагивая от холода, медленно преодолевая ледяные извивы лестницы.

VI

На другое утро Дюргаль проснулся позже обычного. Не успел он открыть глаза, как в мозгу его пронесся вдруг хоровод бесовских обществ, о которых рассказывал накануне де Герми. Вереница мистических шутих, думал он, позевывая, вверх ногами кружатся они в кощунственной молитве! Потягиваясь, взглянул на окно, стекла которого мороз разрисовал кристальными лилиями и ледяными папоротниками, поспешно спрятал под одеяло руки и лениво продолжал нежиться в постели.

Сегодня погода будто создана, чтобы сидеть дома и работать; встану и затоплю камин, говорил он себе, вперед, смелее... И... вместо того, чтобы сбросить одеяло, еще плотнее натянул его до подбородка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.